

The background image is a detailed historical painting depicting a massive crowd of people, likely revolutionaries, filling a grand, vaulted hall with tall columns. The crowd is dense, with many individuals wearing red Phrygian caps (liberty caps) and carrying pikes or other weapons. The scene is lit by natural light from large windows on the right, creating a dramatic atmosphere of chaos and movement. The architecture features classical columns and ornate carvings.

Луи Мортимера-Терно

**История террора
1792-1794 гг. Том
седьмой**

Луи Мортимера-Терно

История террора
1792-1794 гг. Том седьмой

«Автор»

2026

Мортимера-Терно Л.

История террора 1792-1794 гг. Том седьмой / Л. Мортимера-Терно — «Автор», 2026

Седьмой том посвящён весне и началу лета 1793 года во Франции: измене Дюмурье, борьбе Жиронды и Горы в Конвенте, процессу Марата, работе над жирондистской конституцией, началу Вандейской войны и перевороту 31 мая — 2 июня, завершившемуся арестом ведущих жирондистов.

Автор рассматривает этот переворот как насильственный захват власти меньшинством, опиравшимся на вооружённое давление и уличный террор, и открыто полемизирует с историками, оправдывающими или фаталистически принимающими свершившееся. Том насыщен документальными приложениями: протестами депутатов, протоколами, допросами Бурбонов и перепиской. Повествование сочетает хронику с нравственно-политической оценкой, защищая право, законность и представительное начало против культа силы.

Содержание

Предисловие к содержанию седьмого тома	5
КНИГА XXXIII. — СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ.	7
Примечания:	26
КНИГА XXXIV. — КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ И АРМИИ.	28
Примечания:	40
КНИГА XXXV. — МАРАТ ОБЪЯВЛЕН ОБВИНЯЕМЫМ.	45
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Луи Мортимера-Терно

История террора 1792-1794 гг. Том седьмой

Предисловие к содержанию седьмого тома

Седьмой том настоящего сочинения охватывает один из самых напряжённых и трагических периодов Французской революции — весну и начало лета 1793 года. В центре повествования находятся: измена генерала Дюмуре и её последствия для внутренней борьбы в Конвенте; учреждение и короткая, но бурная история Комитета общественного спасения и комиссии Двенадцати; процесс Марата и его триумфальное возвращение в Собрание; разработка так называемой жирондистской конституции; нарастание конфликта между Жирондой и Горой, завершившееся государственным переворотом 31 мая — 2 июня, то есть насильственным исключением из Конвента и арестом ведущих жирондистских депутатов. Том также подробно освещает начало Вандейской войны, положение армий Республики, состояние Парижской коммуны и судьбу членов семьи Бурбонов, оказавшихся во Франции.

Автор стремится не только восстановить фактическую канву событий, но и показать их внутреннюю логику, движущие силы и нравственный смысл. При этом он открыто занимает позицию, сочувственную Жиронде, и рассматривает переворот 2 июня как преступное насилие над национальным представительством, как торжество узурпации, прикрытой именем народа. Эта оценка определяет отбор материала, расстановку акцентов и характер многих примечаний, в которых широко цитируются протоколы Конвента, Коммуны, Комитетов, а также частная переписка и мемуары.

Важной особенностью тома является обилие документальных приложений. Автор приводит протесты депутатов против 2 июня, акты об аресте Бурбонов, допросы герцога Орлеанского и его сыновей, переписку генералов и комиссаров, материалы по началу Вандейской войны, документы о процессе Марата, о временной Коммуне и о судьбе муниципальных чиновников, обвинённых в сочувствии к узникам Тампля. Эти материалы придают повествованию характер не только исторического рассказа, но и своего рода документального свода, предназначенного для проверки и углублённого изучения эпохи.

Освещение событий у других авторов

Автор сознательно полемизирует с рядом историографических традиций. Он отвергает как ультрареволюционную школу, оправдывающую переворот 2 июня соображениями «спасения отечества», так и фаталистическую школу, принимающую свершившийся факт как исторически законный. По его мнению, обе эти позиции — при всём их различии — ведут к нравственной капитуляции перед насилием и к оправданию террора.

В примечаниях он прямо называет имена своих оппонентов. Так, Луи Блан в «Истории Революции» (том VIII) упрекается в том, что слишком снисходительно относится к событиям 31 мая — 2 июня, преуменьшает давление, оказанное на Конвент, и неверно оценивает поведение жирондистов. Автор указывает, что Блан, следуя апокрифическим мемуарам Левассёра (из Сарты), ошибочно утверждает, будто жирондисты без сопротивления приняли адрес Барера 1 июня, тогда как подлинные протоколы и речи Ласурса, Верньо и других свидетельствуют об обратном.

Особое место отводится полемике с наполеоновской традицией, выраженной уже в раннем памфлете Бонапарта «Ужин в Бокере», где падение Жиронды трактуется как доказательство её политической неправоты. Автор видит в этом зародыш культа «свершившегося факта», который позже приведёт к брюмеру и империи, и настойчиво противопоставляет ему защиту права, законности и представительного начала.

Вместе с тем автор не закрывает глаза на ошибки самих жирондистов. Он признаёт их нерешительность, внутренние разногласия, склонность к риторике вместо последовательных действий, неспособность организовать сопротивление и опереться на департаменты. Однако эти упреки не снимают главного вывода: большинство в Конвенте до последнего момента принадлежало Жиронде, и переворот 2 июня был совершён меньшинством, опиравшимся на вооружённую силу, уличное давление и запугивание. Поэтому автор квалифицирует его как «настоящий государственный переворот, направленный против национального представительства», и считает своим долгом напомнить об этом перед судом истории.

Том строится таким образом, чтобы читатель мог сам сопоставить слова и дела обеих сторон. Речи Робеспьера, Марата, Дантона, Кутона приводятся рядом с речами Верньо, Гаде, Ланжюине, Фонфреда; петиции Коммуны и секций — рядом с протестами депутатов; официальные прокламации — рядом с частными письмами, вскрытыми полицией. Этот контраст должен, по замыслу автора, обнажить механизм захвата власти и показать, как законное большинство было сломлено организованным меньшинством.

Таким образом, седьмой том — не просто хроника событий, но и нравственно-политический акт: восстановление чести побеждённых, документирование насилия и предостережение против любых форм оправдания переворота «именем народа».

КНИГА XXXIII. — СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ.

I. Дантон обвинен в связях с Дюмуре (30 марта). — II. Комитет общей обороны доводит до сведения Конвента меры, принятые им против генерала и его приверженцев (1 апреля). — III. Жиронда возобновляет свои нападки на Дантона. — IV. Дантон защищается и выступает со встречными обвинениями против Жиронды. — V. Незаконное собрание комиссаров секций в Епископстве, разоблаченное Барером. — VI. Конвент узнает об аресте своих комиссаров. — VII. Робеспьер обвиняет Жиронду в пособничестве Дюмуре. Бриссо защищает ее. — VIII. Секции направляют депутации с требованием преследования сообщников Дюмуре. — IX. Конвент заменяет Комитет общей обороны Комитетом общественного спасения. — X. Постановляется декрет об аресте всех Бурбонов, проживающих во Франции.

I

В то время как на северной границе совершалась измена Дюмуре, что происходило в Париже?

Мы оставили Конвент в тот момент, когда он вызывал генерала к своей решётке (заседание 30 марта). Можно было предположить, что различные партии, молчаливо согласившись на перемирие в несколько дней, будут ожидать результата миссии, порученной Камю и трём его коллегам. Но завсегдатаи кружка госпожи Ролан, вдохновляемые этой Эгерией с непрестанными подозрениями и неумолимой ненавистью, занимались поисками мнимых заговоров, вместо того чтобы сосредоточить всё своё внимание на слишком реальных опасностях, которые их окружали. Последняя миссия, которую Дантон и Лакруа только что согласились принять при Дюмуре, молчание, которое первый хранил по возвращении, казались им доказательством сговора этих двух людей с мятежным генералом; поэтому они выжидали случая, чтобы дать выход всей ярости, которой они были охвачены против бывшего министра юстиции и его наперсника. Этот случай не замедлил представиться. Комиссары Конвента ещё не уехали, как случайное происшествие внезапно вновь разожгло едва потухший пожар.

Один из секретарей только что зачитал письмо, в котором два монтаньяра, Антуан и Левассёр (из Сарты), находившиеся с миссией в департаментах Мёрт и Мозель, обвиняли жирондиста Салля в ведении контрреволюционной переписки с некоторыми из его земляков. Дантон требует передать инкриминируемую переписку на стол председателя. Весьма резкие протесты раздаются на некоторых скамьях правой:

— Требуйте сразу инквизицию!

— Пусть прежде всего Дантон отчитается; пусть он скажет нам, на что он употребил четыре миллиона секретных расходов!

— Что касается меня, — восклицает один из депутатов, — я требую исполнения декрета, в силу которого Дантон должен отчитаться перед нами о положении в Бельгии. Важно, чтобы мы знали все действия наших комиссаров.

Задетый за живое этими перекрёстными требованиями, Дантон бросается на трибуну.

— Вы постановили декретом, — восклицает он, — чтобы Камю и я, единственные из комиссаров при Северной армии, находящиеся сейчас в Париже, отчитались о том, что мы видели и сделали в Бельгии. Письма, недавно поступившие в ваш Комитет общей обороны, сделали этот отчёт менее важным в том, что касается положения армий, поскольку это положение изменилось. Эти письма потребовали временных мер, которые вы декретировали. Я был готов и готов до сих пор подробно объяснить — и об истории войны в Бельгии, и о генералах, и об армии, и о поведении комиссаров. Пора, чтобы всё стало известно.

— Да! да! — кричат из разных частей зала.

— Пора; тем более что я замечаю, что в Собрании внушали, будто несчастья Бельгии могли быть в большей или меньшей степени вызваны влиянием, ошибками или даже преступлениями ваших комиссаров. Так вот! Я беру на себя с этой трибуны торжественное обязательство всё сказать, всё раскрыть, ответить на всё; я прошу, чтобы завтрашнее заседание было посвящено предварительному отчёту, ибо нужно будет выслушать многих лиц, допросить многих начальников. Увидят, испытывали ли мы недостаток любви к народу, когда не захотели внезапно лишить армию военных талантов, в которых она нуждалась, и отстранить людей, чьи политические взгляды мы, однако, оспаривали; и не спасли ли мы, напротив, армию. Увидят, например, что если бы мы придали этому знаменитому письму, которое читали повсюду, кроме этой залы (письму от 12 марта), те последствия, которые мы могли бы ему придать, как только оно стало нам известно; увидят, что если бы мы в этом случае не проявили в нашем поведении осторожности, которую нам диктовали события, армия, лишённая командиров, отступила бы к нашим границам в таком беспорядке, что враг вошёл бы вместе с ней в наши крепости. Я не прошу ни пощады, ни снисхождения. Я исполнил свой долг в тот момент, как исполнил его 10 августа. Я призываю сегодня на себя все объяснения, все виды обвинений, ибо я решился всё сказать.

Я представляю вам свои отчёты. Эти отчёты, предмет стольких клевет, надеюсь, окажутся достаточными, чтобы устранить преграду, которая нас ещё разделяет.

Наши беды проистекают из наших раздоров. Так узнаем же друг друга. Как получается, что одна часть представителей народа называет другую заговорщиками; что эти обвиняют первых в намерении устроить их избиение? Было время для страстей. Они, к несчастью, в порядке природы. Но нужно наконец, чтобы всё объяснилось, чтобы все судили друг друга и узнали друг друга. Что касается меня, я отвечу категорически на обвинения, которые мне были или будут предъявлены здесь, в этом собрании, у которого вся вселенная служит галереей. Если есть среди вас хоть один, кто испытывает малейшее сомнение в моём управлении как министра, если есть хоть один, кто желает повторных отчётов, хотя все документы уже переданы в ваши комитеты; если есть хоть один, у кого есть подозрения относительно моего управления в части секретных расходов Революции, пусть он завтра поднимется на трибуну, и пусть всё откроется, пусть всё будет обнажено. Я призываю того, кто мог бы предположить у меня замыслы честолубия, растрат, какого-либо должностного преступления, объясниться завтра откровенно по поводу этих подозрений, под страхом быть признанным клеветником. Я никогда в жизни не написал ни строчки для своего оправдания. Однако, свидетельствую перед всеми вами, с самого начала Революции меня изображали в самых отвратительных красках. Разве не требовали не раз моей головы? Она всё ещё здесь. Она здесь и останется. Пусть каждый употребит ту голову, которую получил от природы, не для служения мелким страстям, но для спасения Республики. Объяснимся откровенно, категорически; затем, освободившись от недоверия, мы перейдём к рассмотрению нашего политического положения. Неужели это недоверие, когда хотят сблизиться, так трудно устранить? Я говорю: далеко не так, чтобы в недрах этого собрания существовали те заговоры, которые друг другу приписывают. Слишком долго взаимная жажда мести, внушённая предубеждениями, замедляла движение Конвента и уменьшала его энергию, разделяя его. Объединимся по общему согласию для суровых и твёрдых мер, которых требует народ, возмущённый изменами, жертвой которых он так долго был. Нет, Франция не будет вновь поработана; она может быть потрясена; но народ, как Юпитер Олимпийский, одним мановением обратит в ничто всех своих врагов.

Этот призыв к примирению не имел никакого результата, да и не мог его иметь. Рука, которую Дантон, казалось, хотел протянуть своим противникам, была обагрена сентябрьской кровью. Жирондисты не могли её принять. Их отказ отбросил трибуна, быть может, раскаявшегося, в ряды их самых ожесточённых врагов.

Ласурс, у которого был уже готовый обвинительный акт против Дантона, понял, что сейчас не время его представлять, и потребовал отсрочки обсуждения до тех пор, пока Дюмуре не предстанет перед решёткой Конвента. Ибо, сказал он, не желая в данный момент обвинять кого бы то ни было, я считаю дезорганизацию бельгийской армии следствием заговорщического плана; всё, что мы слышали до сих пор, может дать нам лишь предположения; нам необходимо получить достоверные сведения.

Отсрочка обсуждения была проголосована, и сам Дантон не возражал против неё. Он заплатил дерзостью, сам выйдя навстречу обвинениям своих противников. Удовлетворённый тем, что заставил их отступить перед своей мнимой откровенностью, он стал ждать.

II

Если письмо Дюмуре вызвало сильное волнение в недрах Конвента, оно должно было, естественно, привести в ярость Коммуну, секции, народные общества.

Уже 27 марта секция Прав человека выступила инициатором движения; она заявила, что спасение общественного дела может быть осуществлено лишь энергией самого суверенного народа; что она, со своей стороны, стоит на ногах, готовая защищать свободу; что братьям из сорока семи секций будет предложено направить комиссаров в центральный пункт, и эти комиссары должны будут неустанно заниматься средствами спасения Республики от пропасти, в которую клеветническая и свободобуйственная фракция и вероломные генералы хотели низвергнуть общественное дело и свободу.

На следующий день двадцать семь секций присоединились к этому постановлению и направили своих комиссаров в Епископство. Собравшись в капитульном зале, эти комиссары избрали своим председателем Трюшона, человека сентябрьских убийств, и учредили себя в качестве центрального собрания общественного спасения и переписки с департаментами, под покровительством народа.

Об этом немедленно сообщается Генеральному совету Коммуны, который по требованию Шометта санкционирует учреждение центрального собрания, выделяя ему канцелярские расходы[1]. Совет одновременно постановляет, что на следующий день, в воскресенье, в день, когда петиционеры обычно принимаются у решётки Собрания, он явится туда в полном составе, чтобы потребовать от Конвента применить к Дюмуре закон, карающий смертной казнью всякого, кто будет домогаться короля, диктатора, какого бы то ни было тирана.

Адрес Коммуны с большой помпой приносится в Конвент вице-председателем Генерального совета; Паш пожелал на этот раз воздержаться, из-за своих прежних столкновений с Дюмуре. Новое доказательство, говорил муниципальный оратор, деликатности его прекрасной души[2].

Собрание молча выслушивает этот адрес, в котором Дюмуре сравнивался с новым Бренном, кладущим жизнь своих сограждан на весы своего честолюбия. Оно голосует за его напечатание, но ничего не решает, потому что хочет прежде всего заслушать доклад, который его Комитет общей обороны обещал на завтра, 1 апреля.

В этот день, действительно, при открытии заседания, Камбасерес зачитывает три документа, послуживших основанием для решений, которые Камю[3] заставил принять позавчера: 1) письмо Дюмуре от 12 марта, письмо, которое все знали, но которое ещё не было официально оглашено с трибуны; 2) другое письмо того же генерала военному министру от 28 марта; 3) протокол, составленный тремя комиссарами исполнительной власти — Проли, Перейрой и Дюбюиссоном — о беседе, которую они имели в Турне с Дюмуре[4].

Эти документы, добавляет Камбасерес, доказывают, что главнокомандующий Северной армией стоит во главе обширного заговора, цель которого — восстановить королевскую власть во Франции. Ваш Комитет принял ряд решений, о которых он считает нужным пока умолчать, если только вы не прикажете нам говорить. Но мне поручено сказать вам: 1) что мы распорядились подвергнуть домашнему аресту трёх лиц, подписавших протокол, который я вам только

что зачитал; не потому, что мы сомневаемся в его правдивости, но мы сочли нужным принять эту меру для их личной безопасности и для сохранения столь ценных свидетелей; 2) что мы приняли меры, чтобы обезопасить себя от всех тех, кто в силу своего происхождения, интересов, привычек, связей и положения может быть заподозрен в желании восстановления королевской власти[5].

Указанный мною мотив побудил бы нас включить в число лиц, которых было бы целесообразно задержать, граждан Эгалите и Сийери; но наше уважение к национальному представительству остановило нас, и мы сочли нужным пригласить их в нашу среду. На вопросы, заданные ему председателем, гражданин Эгалите ответил, что он с удовольствием смотрит на все принятые меры, что он сам просит применить к нему все те меры, которые Комитет сочтёт уместным принять; что он желает, чтобы его поведение предстало перед всеми и чтобы хорошо известная истина заставила замолчать его клеветников.

III

Как только Камбасерес спускается с трибуны, Сийери спешит подняться на неё, чтобы заявить о своём республиканизме и объяснить отношения, которые он мог иметь с Дюмуре. Фонфред, который, как и большинство жирондистов, преследовал герцога Орлеанского совершенно особой ненавистью, восклицает: Сийери только что объяснился; пусть Эгалите объяснится в свою очередь, это его право. Но когда оба обвиняемых будут заслушаны, я требую, чтобы обсуждение было отложено до того момента, когда Дюмуре будет доставлен к решётке. Сегодня оно не может быть полезным.

Робеспьер, который никогда не имел сношений с Дюмуре и не боится быть скомпрометированным в объяснениях, вызванных докладом Камбасереса, настаивает на немедленном обсуждении. Конвент принимает его мнение, и жирондист Пеньер начинает атаку. Именно, говорит он, два депутата, Дантон и Лакруа, помешали публичному оглашению письма от 12 марта; они обещали добиться от Дюмуре отказа от этого письма, а в случае отказа генерала — самим предложить декрет об обвинении. Что же произошло, однако? Дантон, вернувшись из Бельгии, не явился ни в Собрание, ни в Комитет общей обороны. Я внёс предложение вызвать его. Он пришёл; я спросил его тогда и спрашиваю ещё сегодня, почему, пообещав добиться от Дюмуре отказа от письма и не сделав этого, он не потребовал против него декрета об обвинении.

— Как! — отвечает Дантон, — это тех, кто постоянно находился в оппозиции к Дюмуре, обвиняют сегодня в том, что они его сообщники! Чего хотел Дюмуре? Установить в Бельгии систему на свой лад, делать там займы, настраивать умы так, чтобы помешать всякому объединению, и обеспечить себе средства вести переговоры с аристократами этой страны. Так вот! Это ваши комиссары расстроили его замыслы и добились голосования бельгийских провинций за присоединение.

Дюмуре восстаёт против присоединения Эно, которое, говорит он, было произведено сабельными ударами. Это ваши комиссары его осуществили.

Во время моего последнего свидания с генералом я понял, что от него больше не следует ожидать ничего, кроме гибельного для Республики. Прибыв в Париж в девять часов вечера, устав с дороги, не зная, заседает ли Комитет общей обороны, я туда не пошёл; я явился туда на следующий день; и там я заявил, что Дюмуре говорил нам, Лакруа и мне, самые чудовищные вещи; что он осмелился сказать, будто Конвент состоит из трёхсот глупцов и четырёхсот негодяев. Я предложил против него суровые меры. Мои коллеги по Комитету сочли меня человеком крайним.

Сегодня утверждают, что мы проявили слишком много снисходительности к главнокомандующему Северной армией; нас упрекают, что мы не приказали его арестовать. Но могли ли мы это сделать, одни посреди армии? Какой генерал взялся бы арестовать Дюмуре по нашему требованию? Мы исполнили свой долг. Я призываю на свою голову самую суровую ответствен-

ность, убеждённый, что моя голова, далёкая от того, чтобы пасть, будет головой Медузы, которая заставит трепетать всех аристократов.

Сквозь эти довольно бессвязные объяснения Дантон, чувствовавший себя уязвимым, позволял, как видно, пробиваться желанию держаться в обороне. Поэтому он ограничился предложением учредить чрезвычайную комиссию, которой поручалось бы рассмотреть поведение членов Конвента, посланных в Бельгию. Чтобы вынудить его к явному и окончательному разрыву с Жирондой, понадобилось, чтобы он был доведён до крайности одним из самых неистовых ораторов этой партии.

Ласурс сам требовал позавчера, чтобы всякое обсуждение бельгийских дел состоялось лишь после явки Дюмуре к решётке. Но его нетерпение и нетерпение его друзей не позволили ему ждать так долго. Уже несколько дней его филиппика была готова; он выжидал благоприятного момента, чтобы её произнести. Едва бывший министр юстиции покинул трибуну, как жирондистский оратор завладевает ею; он начинает с заявления, что не намерен предъявлять формальное обвинение Дантону и Лакруа; что у него есть лишь предположения, которые он должен представить Собранию. Тщетные ораторские предосторожности! Чувствуется, что он хочет поразить своих противников в самое сердце, уже по тому, как он ставит вопрос: Дюмуре замыслил план контрреволюции; замыслил ли он его один? Дантон утверждает, что он не мог, не осмелился приказывать арестовать Дюмуре, а между тем он заявлял нам за некоторое время до того в Комитете, что армия настолько республиканская, что если бы её командующий был объявлен вне закона, она сама привела бы его к решётке Собрания.

Дантон утверждает, что он сообщил Комитету, что Республике больше нечего надеяться от Дюмуре. Вот что он сказал: Дюмуре потерял голову в политике; но он сохранил все свои военные таланты, и нужно остерегаться вырывать его из армии. Робеспьер требовал, чтобы серьёзно рассмотрели поведение Дюмуре и немедленно приняли решение. Дантон воспротивился этому и заявил, что не следует принимать никаких мер против главнокомандующего Северной армией, пока отступление из Бельгии не будет полностью завершено.

Вот факты; вот как я рассуждаю: я говорю, что существовал план, составленный для восстановления королевской власти, и что Дюмуре стоял во главе этого плана. Что было нужно для его успеха? Нужно было сохранить Дюмуре во главе его армии. Дантон поднялся на трибуну и произнёс величайшую похвалу Дюмуре. Нужно было сделать популярным самого себя; что сделал Лакруа? По прибытии из Бельгии он напускает на себя преувеличенный патриотизм, примеров которого до сих пор не подавал. Он объявляет себя монтаньяром, он гремит против депутатов, голосовавших за обращение к народу, против тех, кого обозначают именем государственных людей. Делал ли он это до сих пор? Нет. Для успеха, наконец, нужно было держать оба конца нити. Лакруа остаётся в Бельгии; Дантон приезжает сюда; он присутствует в Комитете общей безопасности и молчит...

Дантон, сдерживавшийся до сих пор, восклицает своим громовым голосом: Это ложь! — и все его друзья повторяют хором: ложь!

Но Ласурс не смущается этими отрицаниями и продолжает так:

Дантон, которому было предложено отчитаться о причинах, заставивших его покинуть Бельгию, говорит нам лишь незначительные вещи. Как получается, что, отчитавшись о положении дел в Бельгии, Дантон остаётся в Париже? Подал ли он в отставку? Нет. Если его намерением было не возвращаться на свой пост, он должен был сказать об этом, чтобы Собрание заменило его; а в противном случае он должен был немедленно туда отправиться. Для успеха заговора Дюмуре нужно было лишить Конвент общественного доверия. Что делает Дантон? Он появляется на трибуне и там упрекает Собрание в том, что оно не на высоте своих обязанностей; он возвещает новое восстание; он возвещает, что народ готов подняться, а между тем народ остаётся спокойным[6].

Чтобы защитить заговор, нужно было преувеличить опасности отечества; Лакруа и Дантон раздувают масштабы наших поражений. Они надеются таким образом достичь двойного результата: робкие души испугаются, трусы спрячутся; народ, считая себя преданным, будет угрожать головам государственных людей. Так стремились возбудить движение, распустили национальный Конвент, в то время как Дюмуре двинулся бы во главе своей армии, чтобы дать нам короля. Граждане, вот тучи, которые я увидел в поведении ваших комиссаров. Как и Дантон, я требую, чтобы вы назначили специальную Комиссию для выяснения фактов и обнаружения виновных. Народ хочет правосудия. Он достаточно долго видел Капитолий и трон; он хочет видеть Тарпейскую скалу и эшафот. Трибунал, который вы создали, ещё не действует. Я требую, чтобы он отчитывался каждые три дня о делах, которые он рассмотрел, и о тех, которые он расследует. Я требую, чтобы граждане Эгалите и Сийери, которые находятся под подозрением, но которых я далёк от того, чтобы считать виновными, были подвергнуты домашнему аресту. Я требую, наконец, чтобы письма и протоколы, которые вам были зачитаны, были разосланы в департаменты и армии, и чтобы вы сопроводили эти документы обращением. Наконец, чтобы доказать нации, что мы никогда не пойдём на сделку с тираном, я требую, чтобы каждый из нас взял на себя обязательство предать смерти того, кто попытается сделаться королём или диктатором.

Раздаётся единодушное одобрение. Всё Собрание встаёт и повторяет клятву Ласурса.

Бирото, один из наименее дисциплинированных застрельщиков Жиронды, просит тогда слова, чтобы сообщить о важном факте: В Комитете общей безопасности, когда искали средства спасения отечества, Фабр д'Эглантин, чьи связи с Дантоном известны, объявил, что у него есть верное средство спасти Республику, но что он не осмеливается им поделиться, потому что мнения беспрестанно оклеветывают. Его настаивали объяснить; его успокоили, сказав, что мнения свободны; что, впрочем, всё, что говорится в Комитете, там и остаётся погребённым. Тогда Фабр обнявками предложил короля.

Бурный ропот с крайней левой встречает это разоблачение. Дантон встаёт и, показывая кулак оратору, восклицает: Негодяи, вы защищали короля и хотите свалить свои преступления на нас!

Бирото: Я сейчас приведу слова Фабра с ответом, который ему был дан. Он сказал... Оратора снова прерывают. Дельмас просит слова во имя общественного спасения: Заклинаю, говорит он, моих коллег прервать объяснение, которое сейчас вызывают. Если оно состоится, оно погубит отечество. Помните это предсказание. Я требую, чтобы немедленно, прекратив всякое обсуждение, вы декретировали учреждение Комиссии, как предложили Ласурс и Дантон.

IV

Собрание, на мгновение вдохновлённое удачно, единогласно принимает предложение Дельмаса. Но Дантон, чувствующий себя смертельно задетым стрелами, пущенными в него Ласурсом, старается возобновить прения, подняв побочный вопрос. Не желая, говорит он, делать никаких личностей, не желая возвращаться к только что декретированному предложению, я требую, чтобы Камбон объяснился по одному денежному факту, по поводу ста тысяч экю, которые, как объявляют, были переданы Лакруа и мне.

— В Комиссию! — кричат несколько голосов. Это направление немедленно предписывается. Дантон вынужден вернуться на своё место. В тот момент, когда он туда приходит, его друзья встают с ужасающими воплями и приглашают его потребовать слова по личному вопросу. Бывший министр юстиции снова бросается на трибуну. Его встречают аплодисментами Горы и галерей. Часть правой требует исполнения декрета и настаивает на переходе к повестке дня. Но сам Ласурс настаивает, чтобы Дантона выслушали немедленно. Тот начинает свою защиту спокойным тоном, который плохо скрывает неумолимую ярость, его сжигающую. Он хочет прежде всего принести покаяние в примирительных чувствах, выраженных им в начале заседания. Повернувшись к крайней левой: Граждане, восклицает он, вы, сидящие на этой Горе,

я должен воздать вам должное; вы судили лучше меня; я с усилием сдерживал порывистость, полученную мной от природы; вы обвиняли меня в слабости: вы были правы.

Как! Это те самые люди, которые по неспособности или злодейству постоянно хотели, чтобы тиран избежал меча закона; это те самые люди, которые сегодня принимают наглый вид обвинителей!

Правая раздражается ропотом; монтаньяры поддерживают оратора жестами и голосом; Дантон перекрывает шум и продолжает:

Что сказал вам Ласурс в романе, который он вам только что изложил? Он солгал, когда сказал вам, что по возвращении из Бельгии я не явился в Комитет общей обороны. Я прибыл в Париж в пятницу 29-го, в восемь часов вечера[7]. Утомлённый поездками и трудами в армии, ибо нужно же наконец сказать, Лакруа и я, мы собирали наших солдат под австрийскими пушками, нельзя было требовать, чтобы я немедленно отправился в Комитет. Уже на следующий день я туда пошёл, и мои заключения были совершенно сходны с теми, которые Камю заставил принять в тот день Конвент.

Утверждают, что мы хотим короля; только те, кто имел трусость голосовать за обращение к народу, только те, кто постоянно стремился восстановить Дюмурье против народных обществ и против большинства Конвента, только те, кто явно хотел наказать Париж за его гражданственность, вооружить против него департаменты; только те, кто хотел федерализма; только те, кто устраивал тайные ужины с Дюмурье, когда он был в Париже...

— Ласурс в них участвовал! — вопит Марат, который своими одобрительными восклицаниями подчёркивает каждое утверждение оратора.

— Только они являются сообщниками заговора, а обвиняют меня!

Этот выпад, брошенный в лицо жирондистам, вызывает восторг Горы и ропот правой. С обеих сторон раздаются самые резкие выкрики. Конвент в этот момент напоминает арену диких зверей, готовых растерзать друг друга.

Дантон, с налитыми кровью глазами, со сжатым кулаком, бросает своим противникам этот вызов, которому суждено было стать сигналом к смертельному бою:

Хотите, — восклицает он, — одно слово, которое заплатит за всё! Так знайте же: больше не может быть перемирия между патриотами, которые хотели смерти тирана, и трусами, которые, желая его спасти, оклеветали нас перед Францией.

Затем, повернувшись к левой:

Республиканцы, — восклицает он, — я обращаюсь ко всем вам; разве страх, разве желание иметь короля заставили осудить тирана?

— Нет! нет! — отвечают многие депутаты.

— Так вот! Если это глубокое чувство ваших обязанностей заставило вас принести его в жертву, если вы верили, что спасаете народ и делаете то, что нация вправе была ожидать от своих представителей, сплотитесь, вы, кто произнёс приговор тирану, против трусов, которые хотели его пощадить. И жестом Дантон указывает на членов правой. Сомкните ряды, призовите народ объединиться, чтобы сокрушить врага внешнего и врага внутреннего. Сокрушите вашей силой всех негодяев, всех аристократов, всех умеренных; никаких больше сделок с ними. Что касается меня, с начала Революции меня клеветали на сто разных ладов, я никогда об этом не беспокоился; сегодня жалкие проповеди лукавого старца[8] стали текстом для новых обвинений. Я доказал, что подозрения, возведённые на меня, были химерами или клеветой, я доказал, что я ничего не получал, что я ни за что не отчитываюсь. Не я руководил расходами, которые повлекло в Бельгии исполнение декрета от 15 декабря; эти расходы были вызваны необходимостью расстроить замыслы фанатичных священников. Не с меня нужно спрашивать за них отчёт, а с Лебрена; я снова обращаюсь по этому поводу к патриоту Камбону!

Тот встаёт и подтверждает, что сто тысяч экю составляли просто-напросто общую сумму расходов, необходимых для исполнения декрета от 15 декабря[9].

Удовлетворённый своеобразным оправданием, которое только что дал ему финансист Горы, Дантон заканчивает свою яростную речь так:

Я призываю на свою голову расследования Комиссии, которую вы только что учредили, я сотру в порошок негодяев, осмелившихся обвинить меня, я укрепился в цитадели Разума, я выйду из неё с пушкой Истины.

Возвращаясь на своё место, Дантон становится предметом настоящей овации со стороны своих коллег с Горы. Аплодисменты трибун продолжаются несколько минут.

Когда спокойствие немного восстанавливается, Фабр д'Эглантин выходит опровергнуть факт, приписанный ему Бирото, будто он обвиняками требовал короля или диктатора. В ответ жирондисты предлагают декрет следующего содержания: Конвент, считая, что спасение народа есть высший закон, постановляет, что, невзирая на неприкосновенность представителя французской нации, он объявит обвинённым того или тех из своих членов, против которых будут иметься сильные предположения о соучастии с врагами свободы, равенства и республиканского правления, вытекающие из доносов или письменных доказательств, переданных в Комитет общей обороны, которому поручены доклады, относящиеся к декретам об обвинении, издаваемым Конвентом.

Это достопамятное заседание 1 апреля ясно показывает глубину пропасти, которая с каждым днём всё больше развиралась между Жирондой и Горой. Жиронда подала в нём пример всех неспособностей и всех непредусмотрительностей; она атаковала Дантона без достаточных доказательств. Она указала участь, которую готовила своим противникам, впервые произнесла слово «эшафот». Она предложила и добилась принятия декрета, который уничтожал, без немедленного и специального применения, неприкосновенность представителей народа и открывал свободный простор всем ненавистям и всем мщениям.

Совпадение, достойное внимания: Жиронда и Гора объявляли друг другу смертельную войну в тот самый момент, когда в шестидесяти лье оттуда Дюмурье, арестовав комиссаров Конвента, поднимал знамя мятежа и провозглашал низложение Собрания.

V

Заседание 2 апреля отмечено новым инцидентом. — Секция Майль приходит с доносом на незаконное собрание, состоявшееся в Епископстве.

Её донос столь же ясен, сколь категоричен; она заявляет, что была введена в заблуждение относительно смысла намерений тех, кто вызвал это собрание, что она только что отозвала полномочия своих комиссаров, что она намерена подчиняться лишь конституционным властям и законам, исходящим от национального Конвента. Одновременно становится известно, что шесть других секций, также направивших комиссаров на собрание, — Борепер, Круа-Руж, Арсенал, Марэ, Гравилье и Арси, — приняли постановления в том же духе, и что, следовательно, центральный комитет больше не пользуется поддержкой большинства секций.

Барер уже с утра знал об этой перемене настроений. Всегда готовый щегольнуть своим мужеством и стоической твёрдостью, когда не грозит никакая опасность, он обращается к депутации Майль с самыми напыщенными поздравлениями; затем добавляет:

Нужно твёрдой и сильной рукой разорвать покров, скрывающий пропасть, в которую хотят низвергнуть Республику. Новая тирания стремится возвыситься — тирания центрального комитета, именуемого комитетом общественного спасения, который переписывается с департаментами и, устраиваясь рядом с национальным Конвентом, единственным центром Республики, как будто хочет бороться с ним. Я никогда не стану порицать тревоги добрых граждан в минуты, когда отечество в опасности, но я всегда буду порицать тех, кто пользуется этой опасностью, чтобы узурпировать национальный суверенитет. Секции Парижа не имеют права узурпировать этот суверенитет. Секции Парижа не имеют права создавать этот комитет. Все эти замыслы, порождённые мелкими честолюбиями, могут лишь унижить или опозорить

национальное представительство; я предложил бы декрет об обвинении против этих так называемых комиссаров, если бы не считал их скорее заблудшими, чем виновными.

Но Барер поднялся на трибуну не только для защиты национального суверенитета; ему прежде всего нужно было оправдаться от обвинений Марата, который примешал его имя к именам льстецов Дюмуре. Без всякого перехода: У меня в руке, говорит он, сочинение под названием «Публицист» Марата, депутата Конвента. Я не стану разбирать, может ли представитель народа подавать таким образом пример неповиновения законам, сам нарушая один из ваших декретов[10]. Что касается меня, я порицаю этот декрет, и если бы я присутствовал при его принятии, я воспротивился бы ему всеми силами. Но в этом листке я нахожу клевету в свой адрес. До сих пор перо Марата щадило меня. Сегодня он обвиняет меня в соучастии в плане контрреволюции, задуманном Дюмуре. Моё поведение отвечает на всё. Когда речь шла о смерти тирана, я, кажется, голосовал с достаточной твёрдостью. Я выступал против всех проектов, запятнанных федерализмом. Когда в Комитете читали письмо Дюмуре от 12 марта, я предложил против генерала декрет об обвинении; один лишь Дантон воспротивился этому.

Марат отвечает, выставляя себя арбитром репутаций и судьёй своих коллег: Если бы Барер обратился ко мне со своей жалобой, я удовлетворил бы её. Он знает, что я никогда не отказывался воздать каждому причитающуюся ему справедливость; но чего я не могу допустить, так это того, чтобы вы хотели отнять у меня моё перо: это оружие, которым я сражаюсь за отечество. Вы не можете запретить писателю-патриоту обнародовать свои мысли. Мне не могут поставить в преступление, что я подписываю свои сочинения своим именем. Это печать человека чести, который желает отвечать за то, что публикует. — Так вот, восклицает Фонфред, я формально требую, чтобы вы вернулись к этому декрету. Вы не можете вырвать перо из рук Кондорсе, оставляя Марату его собственное!

Отмена декрета от 9 марта голосуется единогласно; затем по предложению Барера Конвент объявляет: 1) что секция Майль заслужила признательность отечества; 2) что мэр Парижа будет вызван к решётке, чтобы отчитаться о том, что ему известно относительно соборща комиссаров секций в Епископстве; 3) что та же твёрдость, которую Конвент проявил при осуждении тирана, будет руководить его решениями в мерах, которые он примет для ниспровержения новой тирании, поднимающейся и угрожающей узурпировать или уничтожить национальное представительство.

По получении этого декрета Шометт спешит в Собрание, чтобы заявить о покорности Коммуны. Он объявляет, что муниципалитет отрекается от комиссаров Епископства и уже отменил их постановления. Перед столь всеобщим осуждением агитаторам секций пришлось отложить свои тайные сходки; но они назначили друг другу встречу при ближайшем случае.

VI

Едва открывается заседание 3 апреля, как комиссары Конвента, только что прибывшие из Лилля, появляются на трибуне. Лакруа сообщает об аресте Камю и трёх его коллег; он зачитывает прокламацию, которую Дюмуре направил администраторам Севера, чтобы объявить им о своём походе на Париж[11]. Волнение, которое эта новость вызывает в Собрании, ещё усиливается от чтения письма Кюстина от 30 марта, в котором сообщается, что его авангард только что потерпел серьёзную неудачу близ Бингена и что он вынужден отступать к Майнцу. Несколько депутатов просят слова. Лакруа замечает, что нужно не обсуждать, а действовать; он требует, чтобы Комитет общей обороны немедленно собрался и затем представил Конвенту меры общественного спасения, которых требуют обстоятельства. Тюрио предлагает вызвать к решётке Исполнительный совет, Совет департамента, Генеральный совет Коммуны, командующего национальной гвардией и объявить Собрание непрерывно заседающим.

Эти предложения немедленно принимаются. Марат появляется на трибуне. Собрание, кажется, весьма мало расположено в столь серьёзных обстоятельствах выслушивать бредни Друга народа. Но Марат настаивает: Я фиксирую, восклицает он, перед Конвентом попытки

заглушить мой голос. — Выслушаем его, говорит Женисьё. Если случится несчастье, Марат скажет, что это потому, что его не захотели выслушать. Собрание решается вытерпеть речь гнусного трибуна. Тот выражает свою признательность следующим вступлением: Только предатели могут заглушить мой голос, я призываю вас к молчанию и к вашим обязанностям; если есть человек, который имеет право быть выслушанным, так это я, который уже восемь месяцев предсказываю вам всё, что происходит. Чтобы отвратить грозящую вам опасность, составьте ваши комитеты из членов, облечённых доверием самых ревностных патриотов, и сделайте их ответственными своей головой за все меры, которые они примут. Дайте им достаточно широкие полномочия, чтобы делать добро, даже если бы вам пришлось дать им стражу и привязать им ядро к ногам.

Предлагается, как и все другие предложения того же рода, направить это в Комитет общей обороны. Направление предписывается; тем не менее Друг народа остаётся на трибуне. Председатель, Жан Дебри, говорит ему: Марат, вы только что слышали решение Собрания; удалитесь и идите в Комитет изложить ваши соображения.

МАРАТ. — Я туда не пойду. Не среди своих врагов может совещаться генерал.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. — Напоминаю вам, Марат, что вы не генерал.

МАРАТ. — Ну что ж, я требую обновления Комитета.

Но Конвент переходит к повестке дня и предоставляет слово Тюрио: тот вносит декрет, который объявляет Дюмуре изменником отечества, запрещает всякой гражданской и военной власти ему повиноваться, ставит его вне закона, уполномочивает всякого гражданина преследовать его и обещает награду в триста тысяч ливров тому, кто схватит его и доставит в Париж живым или мёртвым.

Этот декрет принимается, как и другой, предписывающий Исполнительному совету заседать непрерывно.

Несколько мгновений спустя министры входят в Собрание, и Гара заявляет от их имени об их полной преданности Республике; он выражает пожелание, чтобы Конвент сосредоточил у себя все полномочия, сам назначал генералов и чтобы министры были лишь материальными исполнителями его приказов.

— Нет, отвечает Тюрио, важно, чтобы у народа были ответственные агенты. Именно Исполнительному совету надлежит назначать генералов, но он может представлять свой выбор на утверждение Конвента.

Марат, который продолжает метаться на своей скамье вместо того, чтобы отправиться в Комитет общей обороны, требует, чтобы все члены Конвента были обязаны оставаться на своём посту, а те, кто перейдёт заставы, были объявлены бесчестными, изменниками отечества и чтобы их дозволялось преследовать.

— Говорите за тех, кто прячется в подвалах, — кричит чей-то голос.

Этот намёк на привычки Друга народа вызывает огромный взрыв хохота.

Но Гарран-Кулон призывает Конвент к достоинству. Никто из нас, говорит он, не настолько труслив, чтобы покинуть свой пост, когда отечество в опасности. Я требую, чтобы предложение Марата было отвергнуто. Ограничиваются презрительным переходом к повестке дня.

Собрание последовательно принимает департамент Парижа, Генеральный совет Коммуны. Председатель призывает различные власти к самой неусыпной бдительности. Генерал Сантер появляется во главе довольно разнородной толпы, которой он сам немало смущён, ибо она следует за ним из комитета в комитет и сопровождает его до самой решётки. Эти петиционеры, говорит он, предлагают вам свои руки и просят оружия. И, повернувшись к странным спутникам, которых он был вынужден терпеть: Не так ли, друзья мои, продолжает он, ведь это то, чего вы просите? Наполовину убеждённый в их патриотизме и доброй воле, Конвент тем не менее оказывает им почести заседания. Затем, получив довольно успокоительные изве-

ствия — одни из Вандеи, где республиканцы заставили снять осаду с Сабль-д'Олонна, другие с Севера, сообщающие о малом успехе, который имели у населения воззвания Дюмуре, — он на несколько часов прерывает свои заседания.

VII

При возобновлении заседания Робеспьер просит слова. Пора этой комедии закончиться, говорит он, нужно, чтобы Конвент принял революционные меры. До сих пор я слышал лишь предложения паллиативов, рассчитанных на то, чтобы обмануть нас относительно размеров наших бед; нужно принять меры, продиктованные свободой. Но я должен заявить, что они никогда не будут предложены в Комитете общей обороны, ибо в этом комитете царят принципы, которые свобода отвергает!

Раздаётся сильный ропот; оратор продолжает торжественным тоном: Граждане, в этот момент я обязан самому себе, я обязан отечеству исповеданием веры. Назначенный членом Комитета общей обороны, но убеждённый, что принципы, которые должны спасти отечество, не могут быть там приняты, я заявляю, что считаю себя более не входящим в его состав. Я не хочу совещаться с теми, кто говорил языком Дюмуре; с теми, кто нападал на людей, которым Дюмуре объявляет теперь непримиримую войну; с теми, кто, по примеру Дюмуре, клеветал на Париж. Если мне не дано спасти свободу, я не хочу по крайней мере быть сообщником тех, кто хочет её погубить. Я не хочу быть членом комитета, который скорее похож на совет Дюмуре, чем на комитет национального Конвента.

Крики негодования раздаются справа, они лишь разжигают гнев трибуна.

Я ссылаюсь, продолжает он, в подтверждение своих слов на свидетельство самого Дюмуре; ибо в одном из своих писем он написал, что комитет, о котором я говорю, превосходен, за исключением шести членов. Эти шесть членов, к числу которых я имею честь принадлежать, не могут добиться принятия своих идей... Не могу скрыть от вас своего удивления при виде того, что те, кто с начала последней революции не переставали клеветать на левую сторону, которая была и всегда будет партией отечества и свободы, хранили молчание о преступлениях Дюмуре, и что только мы, столь оклеветанные, возвысили голос о вероломствах этого изменника.

— Я прошу слова после Робеспьера, — восклицает Бриссо.

— Поскольку Бриссо, — отвечает оратор, — просит слова, чтобы поразить меня, я применю к Бриссо принципы, которые я выдвинул... Я сказал, что не хочу совещаться с друзьями Дюмуре; так вот! Бриссо был и до сих пор является близким другом Дюмуре... Бриссо связан со всеми нитями заговора Дюмуре. Я заявляю, что нет ни одного честного человека, который следовал политике Бриссо и мог бы не быть убеждён в том, что я утверждаю...

И Робеспьер очень длинно, на свой лад, рассказывает историю Дюмуре и Бриссо, начиная с первого жирондистского министерства:

Кто главные зачинщики объявления войны Австрии, тогда как Робеспьер и его друзья этому противились? Дюмуре и Бриссо. Первые военные действия ознаменовались неудачами. Кто тогда управлял? Министры, назначенные Бриссо. Эти министры предлагали покинуть Париж; они сделали бы это, если бы один член совета, не принадлежавший к их числу (Дантон), не помешал им. Кто возвысил Дюмуре до командования армией Лафайета? Бриссо и его друзья. Этот генерал вежливо проводил прусского короля до границ, он снабдил провиантом вражескую армию, готовую погибнуть от нужды и голода, вместо того чтобы истребить её; он приехал в Париж и стал устраивать скандальные пиры. С кем? С Бриссо и его друзьями. В Бельгии Дюмуре начинает с блестящих успехов; он предпринимает, но на три месяца позже, чем следовало, экспедицию в Голландию; бедствия под Маастрихтом начинают подстроленную эвакуацию Бельгии. Кому это приписать, как не немецким генералам, отчасти навязанным нашим солдатам Бриссо? Вернувшись к бельгийской армии, Дюмуре обвиняет волонтёров во всех наших несчастьях. Он хочет убедить Францию, что её армии состоят лишь из трусов и воров. Наши поражения следуют одно за другим. Он даёт сражение; он его проигрывает. Он обви-

няет в этом левое крыло своей армии; но этим крылом командовал Миранда, его друг. Дюмуре восстановил аристократию в Бельгии; он сделал там огромные займы, он захватил государственную казну; теперь он объявляет войну Конвенту. Но он различает в нём две партии; он провозглашает себя защитником одной и врагом другой; он заявляет, что нужно уничтожить Париж, потому что Париж даёт закон нации. Он ставит себя посредником и говорит нам, что нужно пойти на сделку с иностранными державами. Так вот — нет! Нужно спасти свободу. Но как её спасти, когда друзья короля, те, кто оплакивал гибель тирана, те, кто стремился пробудить роялизм, выставляют себя противниками заговорщика, тогда как они его сообщники? Да, Дюмуре состоит в сговоре с человеком, которого я назвал, и я заявляю, что первая мера общественного спасения, которую нужно принять, — это объявить обвинёнными всех, кто подозревается в соучастии с Дюмуре, и в особенности Бриссо.

Трибуны неистово аплодируют Робеспьеру, когда он возвращается на своё место. Они раздражаются ропотом, когда видят, что Бриссо встаёт, чтобы ему ответить:

Вы слышали обвинителя, говорит председатель, выслушайте обвиняемого.

Бриссо ждёт, пока утихнет шум.

Я не последую, говорит он, за предыдущим оратором в его блужданиях. Я отвечу просто на упрёк, который он мне сделал, будто я сообщник Дюмуре. Я заявляю прежде всего, что я не принимал никакого участия в его назначении в министерство. Оно было результатом интриги Бонкаррера при королеве, и уж конечно Робеспьер не обвинит меня в заговоре с этой женщиной. Меня упрекают в том, что я, как и он, хотел войны с Австрией. Я не знал Дюмуре до его вступления в министерство. За четыре месяца до того, как война состоялась, я доказал на трибуне якобинцев, что война была единственным средством раскрыть вероломства Людовика XVI и прийти к республике. События оправдали моё мнение.

Что касается разрыва с Англией, который Дюмуре порицает в своих манифестах, называя его вероломным делом Бриссо, разве он не вызван недостойным образом действий Англии по отношению к нам, когда она выслала нашего посла, задержала зерно, предназначенное нам, и открыто встала в состояние враждебности против нас? Достоинство Франции не могло снести таких оскорблений. Дипломатический комитет рассудил так, а я был лишь его докладчиком. Наконец, из того, что Дюмуре клеветает на Париж в своих прокламациях, выводят, что я его сообщник, потому что, говорят, я тоже клеветал на Париж в своих речах и сочинениях. Но я бросаю вызов: пусть приведут хоть одно сочинение, хоть одну речь, где я не отличал бы жителей этого города от разбойников, которые его наводняют, которые умножают в нём беспорядки и раздоры и заставляют чужие народы ненавидеть нашу революцию.

Если вы не обратите внимания на грабежи, которые происходили в Бельгии, вы увидите...

Тут оратора прерывает Сержан, который восклицает: Эти грабежи доказаны лишь словами Дюмуре; а Дюмуре — негодяй и изменник[12].

Бриссо не считает нужным отвечать бывшему администратору парижской полиции и ограничивается напоминанием о всех залогах республиканских убеждений, которые он давал на протяжении почти десяти лет.

Огромное большинство Собрания возмущено тем, что Робеспьер пользуется опасностями отечества для удовлетворения своей личной ненависти. Поэтому оно спешит перейти к повестке дня по требованию о привлечении к обвинению Бриссо и его друзей и предоставить слово докладчику Комитета общей обороны.

Комитет, столь яростно атакуемый в последние дни, сам приносит себя в жертву и просит заменить его исполнительным комитетом из девяти членов, избранных из состава Собрания, которым поручалось бы исполнять функции, до сих пор принадлежавшие Исполнительному совету.

Вы можете и вы должны, говорит докладчик, принять то, что мы вам предлагаем. Вы можете, потому что нация, назначив национальный Конвент, передала ему осуществление сво-

его суверенитета и всех своих полномочий. Вы должны, потому что в момент, когда всё, что не есть вы, кажется, готово вас предать, благоразумно доверяться лишь самим себе.

Кто говорит эти слова? Жирондист, Инар. От чьего имени он говорит? От имени комитета, в котором господствует Жиронда; ибо этому партии суждено было всегда идти навстречу мерам, первой жертвой которых он должен был стать.

Этот проект, который одним росчерком пера упраздняет исполнительную власть и передаёт все полномочия девяти членам, совещающимся тайно, кажется столь чрезмерным, что его оспаривают несколько депутатов, принадлежащих к разным оттенкам Собрания. Марат горячо его поддерживает: Пока вы будете принимать меры общественного спасения публично, восклицает он, вы ничего не сделаете. Дюмуре — изменник, и часть Конвента не заслуживает нашего доверия.

Аплодисменты крайней левой встречают слова Друга народа; остальная часть Собрания возмущается. Член центра, Ломон, восклицает: Неужели мы заседаем непрерывно, чтобы слушать оскорбления этого человека? Шум достигает предела. Председатель покрывает голову. Сам Дантон вынужден произнести слова примирения и потребовать отсрочки обсуждения до завтра. Было уже за полночь, и Собрание изнемогало от усталости.

VIII

В то время как Конвент проводил своё ночное заседание с 3 на 4 апреля, в клубе якобинцев тоже совещались и вносили самые безумные предложения. Нужно, вопила одна женщина, гражданка Лакомб, нужно обезопасить себя от всех аристократов. Их поставят идти впереди войск, которые будут отправлены против Дюмуре. Мы объявим им, что если они нас предадут, их жёны и дети будут зарезаны, их имущество сожжено. Если мы погибнем, первый, кто замешкается поджечь, будет немедленно заколот. Нужно, чтобы собственники, которые всё скупили, чтобы довести народ до отчаяния, убили тиранов или погибли сами[13].

Я требую, добавлял другой оратор, чтобы все граждане, которые будут уличены в измене отечеству, были немедленно расстреляны. Головы дворян нам в тягость, как и головы попов.

Это последнее предложение не получает одобрения Робеспьера, который в тот вечер, охваченный лихорадочным возбуждением, беспрестанно ходил из Собрания в клуб и из клуба в Собрание. Нет, говорит он, не нужно точить ваши сабли, чтобы убивать попов. Это слишком презренные враги. Фанатики только и мечтают о предлоге, чтобы поднять крик. Но нужно беспощадно изгонять из наших секций всех, кто отличился духом умеренности. Нужно разоружить не всех дворян и попов, но всех сомнительных граждан, всех интриганов; нужно собрать революционную армию из всех санкюлотов, ядром и силой которой станут предместья.

Снова дав таким образом меру своей любви к свободе мнений, великий жрец демагогии заканчивает свою речь привычной концовкой:

Я знаю, что я особо отмечен кинжалами приспешников Дюмуре, но я буду счастлив умереть жертвой своей преданности народу.

В течение всего этого кризиса клуб Сент-Оноре, увлекаемый словом учителя, занимается гораздо меньше средствами противостоять опасностям отечества, чем преследованием своими доносами депутатов правой. Робеспьеру громко аплодируют, когда он восклицает: Не предлагайте ваши руки и вашу жизнь, но требуйте, чтобы пролилась кровь негодяев, чтобы все добрые граждане собрались в своих секциях и пришли к решётке Конвента заставить нас подвергнуть аресту неверных депутатов[14].

Некоторые секции были слишком хорошо расположены откликнуться на этот призыв.

4 апреля у решётки Национального собрания проходит множество deputаций. Секция Французского театра заявляет, что она поднимется всей массой против врага, а также против изменников. Секция Гравилье требует: 1) чтобы прежде всех других были отправлены в поход подписавшие антигражданские петиции 8 000 и 20 000, дабы они прикрывали своими телами патриотов; 2) чтобы все богачи, чей доход превышает 2 000 ливров, были обязаны

отдать в качестве военного налога всё, что превышает эту сумму. Секция Четырёх Наций требует, чтобы были наказаны подписавшие те же петиции; чтобы была сформирована революционная армия; чтобы был набран легион тираноубийц; чтобы была декретирована награда в один миллион всякому французскому или иностранному гражданину, который принесёт голову тирана; чтобы каждому защитнику отечества был предоставлен доход в шестьсот ливров из имуществ эмигрантов и заговорщиков; чтобы были подвергнуты аресту все члены Учредительного собрания, голосовавшие за неприкосновенность тирана, все члены Законодательного собрания, голосовавшие за безнаказанность Лафайета.

Под давлением этих беспрестанно возобновляемых требований Конвент постановляет: 1) что отцы и матери, жёны и дети офицеров армии Дюмуре, от чина подпоручика до генерал-лейтенанта, будут содержаться под стражей в качестве заложников каждой коммунаой по месту их жительства; 2) что различные иностранные военные, содержащиеся сейчас как военнопленные, будут переведены в Париж, чтобы служить заложниками нации, пока не будет возвращена свобода четырём комиссарам Конвента и министру Бёрнонвилю[15].

От имени Комитета общей обороны Фабр д'Эглантин и Барер добиваются решения о том, что полномочия представителей народа в миссиях будут расширены, что делегаты будут носить отличительные знаки[16] и что будет сформирована армия в сорок тысяч человек, предназначенная для прикрытия всех сухоходных рек, ведущих к Парижу[17]. По поводу этой последней меры Лакруа выражается так: С начала революции было много измен. Изменяли всегда дворяне. Нам нужна непобедимая армия. Так составим её из санкюлотов. Я требую, чтобы ни один бывший привилегированный не был допущен в эту армию ни волонтёром, ни офицером.

Этот странный принцип принимается единодушно; тотчас же Дантон усиливает предложение своего друга:

Декрет, который вы только что издали, говорит он, возвестит нации и всей вселенной, каково великое средство увековечить Республику: это призвать народ к её защите. У вас будет армия санкюлотов, но этого недостаточно; нужно, чтобы, пока вы будете сражаться с внешними врагами, аристократы внутренние находились под пиками санкюлотов.

Я требую, чтобы была создана гвардия народа, которая будет получать жалованье от нации. Мы будем хорошо защищены, когда нас будут защищать санкюлоты.

У меня есть ещё одно предложение. Нужно, чтобы по всей Франции цена хлеба находилась в справедливом соотношении с заработком бедняка; то, что превысит её, будет оплачиваться богатым. Одним этим декретом вы обеспечите народу и его существование, и его достоинство. Вы привяжете его к Революции, вы приобретёте его уважение и любовь. Он скажет: Наши представители дали нам хлеб; они сделали больше, чем кто-либо из наших прежних королей.

Предложения Дантона покрываются аплодисментами и без возражений превращаются в декреты[18]. Двойной рычаг террора был найден. Оставалось лишь оплачивать также санкюлотов, которые будут являться на собрания секций, чтобы изгонять оттуда тех, кто захочет поднять голос против этих тиранов нового рода. Именно это вскоре заставит проголосовать тот же Дантон, и тогда система станет полной.

IX

3 апреля Конвент отложил на следующий день обсуждение проекта, представленного Инаром о преобразовании Комитета общей обороны. При открытии заседания 5-го жирондистский депутат указывает на неотложность решения по этому вопросу: Исполнительная власть в настоящий момент полностью дезорганизована и не хочет больше ничего брать на себя; она отказывается делать что бы то ни было без одобрения Комитета. А этот Комитет, окружённый недоверием, терзаемый клеветами, сам не осмеливается ничего одобрять. К тому же он организован так, что не может делать добро, поскольку каждый член Собрания имеет право присутствовать на его совещаниях, мешать им тысячами инцидентов и выдавать их тайну обществен-

ному любопытству. Что касается меня, я требую, чтобы обсуждение открылось немедленно, и заявляю о своей отставке с поста члена Комитета.

— Я тоже подаю в отставку, добавляет Бреар, и поддерживаю предложение Инара. Говорю вам с убеждением честного человека: если вы хотите спасти Республику, пора вам об этом подумать. Как вы хотите, чтобы ваш комитет принимал действенные меры, когда у него триста свидетелей присутствуют при всех его действиях?

Барер в свою очередь излагает неудобства нынешней организации Комитета общей обороны:

Мы поступаем как афиняне, когда Филипп был у их ворот: много совещаемся и мало действуем. Ваш комитет — это клуб или новое национальное собрание. Он не отвечает цели своего учреждения. Это уже не деятельный комитет, быстро принимающий меры общественного спасения. Он был создан как своего рода сделка между резко выраженными партиями. Вы образовали конгресс страстей, а нужно было образовать конгресс просвещения. Этот комитет по своей порочной организации, по своему несовместимому составу, по своей опасной публичности, по своему слишком медленному обсуждению может лишь препятствовать ходу дел и дать погибнуть Республике.

Во всех странах перед лицом явных заговоров чувствовали необходимость прибегать на время к диктаторским властям, к консульским полномочиям. Не то чтобы я хотел предлагать вам подобные учреждения. Единственная диктатура, которая законна, которая необходима, которую нация желала, — это диктатура национального Конвента. Речь идёт не о том, чтобы перенести или передать новому Комитету общественного спасения какую-либо ветвь законодательной власти. Чего вам бояться от комитета, всегда ответственного, всегда поднадзорного, не издающего никаких законов, лишь надзирающего за исполнительной властью, лишь ускоряющего действия агентов этой власти, лишь приостанавливающего постановления, принятые министрами, немедленно донося о них национальному Конвенту? Чего вам бояться от комитета, от которого государственное казначейство полностью независимо, который не может действовать на свободу простых граждан, но лишь на агентов власти, могущих быть подозрительными? Чего вам бояться от комитета, учреждённого на один месяц? Неужели мы всегда будем окружать себя страхами и химерами? Боязнь тирании приводит вслед за собой саму тиранию. Большие дети Конвента — так Барер обиняками обозначает жирондистов — беспрестанно пугают вас словом «диктатура»; но разве вы уже не доверили вашему Комитету надзора и общей безопасности право издавать приказы об аресте граждан? Разве вы уже не отправили в департаменты комиссаров, облечённых устрашающей властью высылать врагов свободы и равенства? Вы говорите о диктатуре! Говорите же о той диктатуре, самой страшной из всех, — о диктатуре клеветы! Вот та, которая, пробегая по всем рядам общества и по всем скамьям национального Конвента, повсюду разливает свои яды и становится таким образом самым опасным пособником держав, объединившихся против нас. Вот диктатура, на которую я вам доношу и которая всё сокрушит, если вы не остережётесь её...

Видно, что Барер умел подсластить края отравленной чаши, которую он подносил Конвенту. Преобразование Комитета общей обороны принимается в принципе. Инару, Бареру, Тюрио, Матьё и Дантону поручается составить проект декрета.

На следующий день, 6-го, Инар представляет Собранию работу пяти комиссаров. Согласно проекту, путём поименного голосования должен быть образован Комитет общественного спасения из девяти членов. Этот комитет должен совещаться тайно. Ему особо поручается надзирать за действиями исполнительной власти и ускорять их. Он может приостанавливать постановления министров, если сочтёт их противоречащими национальному интересу, с обязательством немедленно сообщать об этом Конвенту. Он уполномочен принимать в неотложных обстоятельствах меры общей внутренней и внешней обороны. Его постановления должны приниматься в присутствии не менее двух третей его членов и без промедления исполняться

министрами. Никакой приказ об аресте или приводе не может быть им издан, кроме как против агентов исполнительной власти, и с обязательством немедленно отчитываться перед Конвентом. Ему выделяется сто тысяч франков секретных расходов. Он обязан каждую неделю представлять письменный общий отчёт о своих действиях и о положении Республики. Он учреждается лишь на один месяц.

Едва Инар спускается с трибуны, как на неё бросается Бюзо.

Мера, говорит он, которую вам предлагают, есть лишь воспроизведение декрета, представленного 10 марта, столь энергично оспоренного Ларевельером и отвергнутого Собранием[19]. Те же причины должны заставить вас принять то же решение; комитет имел бы всю власть, которую дают деньги, — разве он не мог бы злоупотребить ею? Этот комитет имел бы право, которое вы одни должны осуществлять, — право издавать законы, поскольку он мог бы принимать временные меры, которые в делах общественного спасения всегда являются окончательными законами. Я знаю, что обстоятельства требуют чрезвычайных мер; но ради этого не нужно убивать свободу. Я воспротивлюсь всеми своими силами изданию столь ужасного декрета.

Тюрио отвечает: Конвент не может управлять, Исполнительный совет недостаточно деятелен. Нужен промежуточный орган, который был бы порождением национального представительства и которому оно передало бы часть своих полномочий. Вас пугают коррупцией, которую этот комитет сможет сеять вокруг себя. Вам говорят о возможных растратах. Неужели нужно считать золото, когда речь идёт о спасении политического тела? Истощим государственную казну и спасём свободу!

Тюрио облёк свою мысль в искусные околичности; Марат берёт на себя сорвать покровы и придать новому комитету его подлинный характер. Вы торгуетесь с комитетом о его полномочиях, но знайте: с теми средствами, которые вы ему даёте, он, быть может, окажется недостаточно силён, чтобы спасти Республику. Именно насильем надлежит установить свободу. Настал момент организовать на время деспотизм свободы, чтобы сокрушить деспотизм королей.

На этот грубый призыв к праву силы Бирото возмущается: Как! восклицает он, это насильем хотят установить свободу! Бойтесь, как бы за занавесом не оказался какой-нибудь честолюбец, который под маской патриотизма не захватил бы верховную власть.

Голос оратора заглушается криками Горы и трибун. Требуют голосования. Собрание считает себя достаточно осведомлённым и голосует декрет, которому суждено учредить тиранию пресловутого Комитета общественного спасения.

Х

Жирондисты с самого начала Конвента видели в герцоге Орлеанском кандидата, которого их противники держали в запасе для возможной реставрации королевской власти; они неоднократно делали безуспешные попытки исключить из Собрания этого коллегу, чьё присутствие на вершине Горы казалось им постоянной угрозой. Они не могли упустить нынешний случай, чтобы продолжить свой замысел, обвинив принца в сговоре с Дюмуре.

Атаку начинает Барбару (утром 4 апреля). Пять месяцев назад, говорит он, нас называли негодяями; сегодня вы должны признать, что мы были правы. В самом деле, чего требует Дюмуре? Восстановления прежней конституции. Кого прежняя конституция призывает на трон? Д'Орлеана.

— Вы ошибаетесь, восклицает монтаньяр Бриваль, это дофин.

— Вы сознательно лжёте, добавляют другие голоса.

— Ну что ж! Раз вы не хотите меня слушать, продолжает молодой депутат из Марселя, я покидаю трибуну, но требую зафиксировать мой донос.

Мгновение спустя Марибон-Монтан от имени Комитета общей безопасности предлагает подвергнуть аресту жену и детей генерала Валанса.

Шатонёф-Рандон требует, чтобы также была подвергнута аресту герцогиня Орлеанская, которую он называет «женщиной Эгалите». Её сын, говорит он, совсем недавно писал ей контр-революционные письма; уже по одному этому факту она должна считаться подозрительной.

— Валанс и Эгалите-сын, восклицает Левассёр (из Сарты), примкнули к свободудбий-ственным замыслам Дюмуре; доказательством тому служит само их присутствие при его беседах. Они виновны уже тем, что потерпели, чтобы в их присутствии этот изменник оскорблял национальный Конвент. Они должны были заколоть его, услышав подобные речи. Я требую, чтобы, не лишая их права голоса, Эгалите-отца и Сийери содержали под стражей.

Взгляды поочерёдно обращаются на двух обвиняемых, сидящих в противоположных концах зала: один справа, другой слева.

Сийери встаёт и говорит:

Требование Левассёра справедливо, оно необходимо для безопасности нации и для моей собственной. Если мой зять виновен, я вижу перед собой образ Брута; я знаю, какой приговор он вынес своему сыну.

После него герцог Орлеанский делает следующее заявление:

Я уже просил Комитет общей обороны произвести самое тщательное расследование моего поведения. Если я виновен, я должен быть наказан; если виновен мой сын, чему я не верю, я тоже вижу Брута.

Эти заверения не останавливают враждебности жирондистов. Дюко хочет, чтобы Валанса и Эгалите-сына вызвали к решётке. Если они не подчинятся декрету, Собрание объявит их вне закона, как оно уже объявило Дюмуре.

Фонфред поддерживает предложение своего зятя следующим горьким выпадом:

Справедливо говорили, что не следует сохранять в Республике семена эмигрантов. Я тоже не хочу семени королей. Оно прорастает в разврате. Эгалите, говорят, служили свободе. Я не хочу быть ничем обязан этим людям, в жилах которых течёт кровь королей.

Собрание вызывает к своей решётке обоих генералов; если через восемь дней после вручения им декрета они не подчинятся, они будут этим самым объявлены вне закона; всякому гражданину будет предписано преследовать их, а их имущества будут конфискованы в пользу Республики.

Другим декретом оно постановляет, что Сийери и Эгалите, члены национального Конвента, будут содержаться под стражей, с правом передвигаться, куда сочтут нужным, но только в пределах Парижа.

Меры, принятые против этих двух депутатов, предвещали другие, более суровые. Они не заставили себя долго ждать. 6 апреля, тотчас после чтения депеш, в которых Кошон, Бельгард и Лекенью сообщают о развале войск, ещё державших сторону Дюмуре, и о бегстве последнего, перешедшего границу вместе с Эгалите-сыном и Валансом, с разных сторон Собрания раздаются голоса с требованием ареста Эгалите-отца и Сийери.

Фонфред бросается на трибуну, ибо считает для себя честью внести предложение, которое должно уничтожить последние следы королевской власти во Франции.

Нам беспрестанно говорят, говорит он, о революционных законах, о сильных и энергичных мерах... Я не понимаю, как изгнание семьи, бывшей и навсегда остающейся королевской, не было включено в число этих мер. Нужно издать этот революционный закон, этот грозный закон, которого требует и которым оправдывается спасение народа. — Да! да! — восклицает почти всё Собрание.

В тот день, когда вы основали Республику, если бы вы изгнали всех этих Бурбонов, этот день избавил бы Францию от многих смут, Париж от многих волнений, вас от многих раздоров, ваши армии от многих неудач. Настало время отречься от этой слабости. Республики существуют лишь добродетелями, принцы живут лишь преступлениями. Развращённые при дворах, они развращают ваших солдат в лагерях, ваших граждан в городах; для них нет ни веры, ни

клятвы; их честолюбие скрывается под тысячью обличий, и, оскверняя священное имя отечества, они втайне стремятся когда-нибудь вновь стать вашими господами.

Посмотрите на Эгалите-сына! Он был осыпан милостями Республики; он родился от крови ваших тиранов, и, несмотря на это пятно бесчестия, он командовал вашими армиями. И что же! Он устраивает заговор, бежит, переходит к врагу. Возблагодарим гений, бдящий над Республикой: он наконец просвещает нас и указывает нам наши обязанности.

Пока на Севере устраивали заговор, что будет делать этот другой Эгалите на Юге, в армии Вара? Не станет ли он в руках нового генерала новым орудием честолюбия?

Изменники, служившие этой семье, которой мы по какому-то ослеплению вверили наши флоты и армии, привели наших коллег к Маастрихту; они во власти королей, наших врагов.

Граждане, принцы, по крайней мере в злодеяниях, все состоят в родстве; сохраним же всех этих Бурбонов заложниками. И если тираны, к которым отправился Эгалите, которым он выдал наших коллег, осмелятся, презрев право народов, занести убийственный клинок над представителями французского народа, пусть все эти Бурбоны будут влекомы на казнь; пусть их головы катятся к подножию эшафота; пусть они исчезнут из жизни, как королевская власть исчезла из Республики, и пусть земля свободы больше не выносит их гнусного существования.

Со всех сторон кричат: К голосованию! Предложение с воодушевлением декретируется. Пример подан, несколько депутатов спешат отличиться новыми предложениями.

МАРИБОН-МОНТАН. — Если декрет, изданный вами ранее против генерала Эгалите, не может более иметь силы, поскольку он бежал, он может получить исполнение в лице юного Эгалите, состоящего при армии Вара. Из этого молодого человека можно было бы сделать новое орудие заговора; я требую, чтобы он был доставлен в Париж и содержался там как заложник.

ЛАКРУА. — Я требую, чтобы женщины и дети были включены в этот декрет.

ДЕЛОНЕ. — Я требую, чтобы заключённые не оставались в Париже.

ЛАСУРС. — Но нужно прежде всего декретировать, что Бурбоны, находящиеся в Тампле, там и останутся. Эти заложники обеспечили ваши головы. Если бы злоумышленники не боялись, что падут те головы, они уже посягнули бы на ваши. Я требую, чтобы Комитету общественного спасения было поручено указать место, куда будут отправлены остальные Бурбоны.

ДЮПРА. — Вспомните: когда три месяца назад речь шла об изгнании Бурбонов, граждане разошлись по секциям и разжигали там беспорядки, чтобы помешать нам издать декрет. После его принятия трибуны принуждали нас его отменить[20]. Я требую, чтобы Париж и Марсель, которые проявили себя одинаково патриотичными, разделили охрану этих драгоценных заложников. У Эгалите много друзей в Париже; в Марселе их у него нет. Пусть его туда отправят, там он будет хорошо охраняться.

Собрание поручает своему Комитету общественного спасения указать место содержания Бурбонов, не находящихся в настоящее время в Тампле.

Утром 7-го герцог Орлеанский арестован; тотчас он пишет Конвенту, ссылаясь на свою неприкосновенность:

Непреклонно привязанный к Республике, уверенный в своей невинности и страстно желающий того момента, когда моё поведение будет рассмотрено, изучено и обнародовано, я ни на мгновение не отсрочил бы исполнение декрета, если бы не боялся, что во мне будет скомпрометировано достоинство представителя народа.

Но Собрание презрительно переходит к повестке дня, мотивируя это тем, что оно вполне имело в виду включить Луи-Филиппа-Жозефа Эгалите в декрет, предписывающий арест Бурбонов.

При оглашении этой формулы жирондист Пеньер, верный неумолимой ненависти, которую его партия питала к принцу-монтаньяру, пускает в него последнюю стрелу:

Пусть он снова примет имя Орлеана или Бурбона, нельзя допускать, чтобы он носил имя Эгалите, как и любой другой гражданин.

На следующий день, 8-го, Гюйтон-Морво предлагает от имени Комитета общественного спасения заключить в Венсенский замок членов семьи Бурбонов, чей арест был предписан. Но против этого назначения раздаются очень резкие возражения: оно, говорят, оставляет заключённых слишком близко к Парижу, где злоумышленники могли бы возбудить беспорядки в их пользу. Нужно признать, восклицает Фонфред, по-прежнему самый неистовый в преследовании своих республиканских мечтаний, нужно признать, что королевская семья — вещь в высшей степени обременительная. Не может более идти речи о том, останутся ли Бурбоны в Париже; вы решили обратное. Ваш Комитет общественного спасения ловким обходом хочет уклониться от вашего декрета. Как! Неужели Марсель, Монпелье, Тулуза, Бордо не имели бы прав на ваше доверие! Разве в каждом из этих городов нет десяти-двенадцати тысяч хорошо организованной национальной гвардии, добрых республиканцев, которых не смогло бы подкупить всё золото иностранцев и которые сумеют помешать контрреволюционерам вновь посадить тиранов на трон? Мне всё равно, которому из этих городов вы сделаете этот зловещий подарок, но пусть они уедут.

Ларевельер-Лепо замечает, что Марсель слишком близок к армии Приморских Альп, которой командует Бирон.

— Ну что ж! — восклицает Левассёр (из Сарты), — если Бирон опасен, пусть его отставят!

— Да, отставьте его! — добавляет Марат; — у него сношения с Эгалите-сыном.

Собрание, кажется, колеблется между Бордо и Марселем; наконец, после трёх сомнительных голосований предпочтение отдаётся Марселю.

В ночь с 9 на 10 апреля герцог Орлеанский, герцог де Божоле, его третий сын, тринадцати лет, герцогиня де Бурбон, сестра одного и тётка другого, наконец, принц де Конти отправились под охраной сильного конвоя к месту, указанному Конвентом. Молодой герцог де Монпансье, арестованный в это время в армии Бирона, вскоре присоединяется к ним. Все заключены в форт Сен-Жан.

Из этих пяти узников лишь одному суждено было погибнуть на эшафоте: герцогу Орлеанскому. Остальные после долгого заключения избежали революционного топора и были отправлены в изгнание Республикой, ставшей более человечной.

Герцогиня Орлеанская, дочь герцога де Пентьевра, защищённая своими добродетелями и памятью своего отца, долгое время оставалась в Бизи, близ Вернона. В последние месяцы Террора она была заключена в Люксембургскую тюрьму, где стала провидением для своих товарищей по несчастью[21].

Примечания:

[1] *Moniteur* от 5 апреля, № 95, статья «Коммуна».

[2] Что не помешало Ксавье Одуэну, зятю Паша, добиться своего назначения от секции Люксембург одним из комиссаров, посланных в Епископство для руководства движением, из которого исходил адрес муниципалитета.

[3] См. том VI, книга XXXI, § VIII.

[4] Письмо от 28 марта и протокол трёх комиссаров были проанализированы в томе VI, книга XXXI, § V.

[5] Комитет общей безопасности, большинство которого, как известно, было откровенно монтаньярским, воспользовался этим случаем, чтобы удовлетворить свою ненависть и личные мщения. Притворно усматривая в Ролане сообщника Дюмуре, он распорядился наложить печати на бумаги бывшего министра и его жены. (См. «*Patriote français*», № 1828, «*Moniteur*», № 100 и 114.)

[6] См. том VI, книга XXXI, § VI, речь, которую Дантон произнёс 27 марта.

[7] Дантон бесстыдно лгал; он был в Париже за несколько дней до пятницы 29-го. Мы доказали, том VI, книга XXXI, § III, что он прибыл туда 24-го, но появился в Комитете общей обороны и в Собрании лишь 27-го; в этот день он произнёс речь, которую мы разобрали там же, § VI.

[8] Дантон обозначает так Ролана.

[9] Таким образом, ещё раз доказывается более чем странный способ, которым в Бельгии добывались голоса в пользу присоединения. Удары саблей плашмя, раздаваемые тем, кто проявлял какую-либо склонность к оппозиции, по меньшей мере сто тысяч экю, потраченные на разжигание энтузиазма бунтовщиков и на оплату жалованья апостолов свободы, — таковы были доводы, применённые комиссарами исполнительной власти. (См. т. VI, книга XVII, § IX.)

[10] См. т. VI, книга XXIX, § V, декрет от 9 марта, который по предложению Лакруа предписывал депутатам выбирать между обязанностями представителей народа и профессией журналистов.

[11] См. это письмо, том VI, книга XXXII, § I.

[12] Сержан забывал, что Конвент признал реальность этих грабежей и подверг их суровому порицанию декретом от 19 марта. Мы считаем нужным привести полностью текст этого декрета, потому что он делает честь собранию, которое его издало:

Национальный Конвент, с болью выслушав рассказ об осквернениях, совершённых гражданами в нескольких церквах Бельгии в тот момент, когда в силу декрета от 15 декабря прошлого года из них извлекались золотые и серебряные сосуды и украшения, бесполезные, излишние для достоинства культа, постановляет, что всякий гражданин, который позволит себе непристойности в местах, посвящённых религии, или будет уличен в осквернениях какого бы то ни было рода, будет объявлен и передан судам для преследования сообразно обстоятельствам дела.

[13] См. «*Journal des Débats*» клуба якобинцев, № 388. Эта же гражданка несколько часов спустя явилась в Конвент, чтобы зачитать ту же петицию. Скажем к чести Собрания, что эта речь, вместо того чтобы быть встреченной аплодисментами, как в клубе Сент-Оноре, вызвала в зале Манежа лишь движение ужаса.

[14] См. «*Journal du club des Jacobins*», № 388 и 389.

[15] Эти заложники, доставленные в Париж, содержались в Люксембургской тюрьме и в Аббатстве. Они оставались там несколько лет в глубочайшей нищете; ибо им не позволяли получать деньги из своей страны и не назначали никакого содержания под предлогом, что закон ничего не постановил на их счёт. Они вышли из тюрьмы лишь в конце III года.

Главными заложниками были четыре графа Лейнингенских и один граф Ауэрсперг.

[16] Первое предложение дать особый костюм представителям народа при армиях исходило от Дантона, который по возвращении из своей миссии в Бельгии выразился так в заседании 10 апреля:

Ваши комиссары, хотя и облечены большой властью, не имеют ничего, что обеспечивало бы успех их действий. Солдаты по нашему прибытии принимают нас лишь за простых секретарей комиссии. Следовало бы, чтобы Конвент дал тем, кому он поручает провозглашать свои законы во главе армий, некое подобие украшения, наполовину гражданского, наполовину военного.

Согласно декрету, представленному Барером и дополненному Давидом и Ларевельером-Лепо, отличительными знаками, по которым должен был узнаваться представитель народа, были перевязь на поясе и шляпа, увенчанная перьями трёх цветов.

Согласно декрету, представленному Фабром д'Эглантинем, представители народа могли делать любые реквизиции административным органам, отстранять и увольнять всех гражданских и военных должностных лиц и принимать все меры общей безопасности и все меры, необходимые для быстроты и пользы их действий. Они были уполномочены совещаться и действовать в числе двух.

[17] Следует помнить, что Дюмурье в беседе с Проли и двумя его спутниками хвастался, что в несколько дней уморит Париж голодом, перехватив с помощью нескольких тысяч человек подвоз, предназначенный для снабжения столицы (см. т. VI, книга XXXI, § V).

[18] Вот сам текст этих двух декретов:

Национальный Конвент постановляет, что в каждом крупном городе будет сформирована гвардия из граждан, избранных среди наименее состоятельных, и что эти граждане будут вооружены и получать жалованье за счёт Республики.

Конвент поручает своему Военному комитету представить ему доклад о способе исполнения настоящего декрета.

Национальный Конвент постановляет, что в каждой секции Республики, где цена зерна не будет более находиться в справедливом соотношении с заработной платой рабочих, из государственного казначейства будет предоставлен необходимый фонд, который будет взиматься с крупных состояний и которым будет оплачиваться превышение стоимости хлеба по сравнению с ценой заработной платы нуждающихся граждан.

[19] См. т. VI, книга XXIX, § X.

[20] См. т. V, книга XXII, § I, рассказ о сценах, которые вызвали первые жирондистские предложения об изгнании Бурбонов.

[21] Мы собрали в конце этого тома большое количество документов, большей частью неопубликованных, относящихся к плену Бурбонов, кроме августейших узников Тампля.

КНИГА XXXIV. — КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ И АРМИИ.

I. Реорганизация Генерального совета Коммуны. — II. Расширение полномочий Революционного трибунала. — III. Комитет общественного спасения представляет изложение возложенных на него полномочий. — IV. Северная армия в апреле 1793 года. — V. Рейнская армия в тот же период. — VI. Келлерман и Бирон подозреваются в сговоре с Дюмуре. — VII. Подавление беспорядков в Бретани, экспедиция в Порник, резня в Машкуле.

I

Благодаря состоянию смуты и возбуждения, в котором находился Конвент после измены Дюмуре, два факта огромной важности прошли почти незамеченными: реорганизация Парижской коммуны и расширение полномочий революционного трибунала.

С того дня (2 декабря 1792 года), когда новая Коммуна водворилась в Ратуше[1], мы всегда говорили о ней как о некоем собирательном существе, не занимаясь элементами, из которых она состоит, ни раздорами, которые её подтачивают. Она, в самом деле, следует тем же путём, что и её предшественница, идёт на поводу у тех же вожakov — Эбера и Шометта. Откуда же тогда то обстоятельство, что, едва учредившись, она требует от Конвента принятия декрета, изменяющего её внутреннюю организацию? Чтобы объяснить это требование, нам нужно вернуться несколько назад. Напомним: на выборах, произведённых в силу декрета от 24 ноября, некоторое число секций избрало членов относительно умеренных; большинство людей 10 августа были исключены. В силу того же декрета двадцать два члена прежней конституционной муниципальной администрации были оставлены в должности, не подвергаясь переизбранию. Рождение этого совета было, следовательно, запятнано непростительным пороком: он был навязан Конвентом. От него нужно было избавиться любой ценой. Чтобы достичь этого результата, вожакам Ратуши не потребовалось больших затрат воображения — им достаточно было сослаться на строгую законность; ибо эти вечные нарушители закона не стеснялись укрываться под его эгидой, когда такая тактика могла благоприятствовать их тайным замыслам.

Декрет от 24 ноября, который Конвент принял в спешке и чтобы поскорее избавиться от Коммуны 10 августа, был охарактеризован самими его составителями как временный и исключительный. Можно было, следовательно, с некоторым основанием утверждать, что выборы, произведённые в соответствии с этим декретом, разделяют его природу и что муниципалитет, из них вышедший, должен был существовать лишь до того момента, пока не появится время исполнить предписания закона 1790 года, остававшегося хартией парижской Коммуны. Нужно было, следовательно, лишь назначить ближайший день для полного обновления Совета; простого постановления муниципального органа было достаточно; не нужны были ни Конвент, ни его декреты. Более того, внезапным ниспровержением только что установленной власти Собранию показывали, как мало считаются с его волей. Двойная выгода: разбивали малосимпатичный Совет и бросали вызов Конвенту.

Менее чем через месяц после ноябрьских выборов секции были созваны для назначения ста сорока четырёх членов Генерального совета, который на этот раз должен был стать окончательным.

Голосование открылось 24 декабря. Благодаря перевозбуждению, которое произвели в умах приготовления к суду над королём, новые выборы оказались в общем весьма благоприятны для демагогической партии. Большинство членов Коммуны 10 августа всплыли вновь и взяли реванш за своё недавнее поражение. Назначения происходили при столь же малых, как и в ноябре, большинствах: сто голосов, а часто и меньше, оказывалось достаточно, чтобы открыть вход в Совет не одному человеку, до тех пор тёмному и неизвестному.

Но вожаки Ратуши не рассчитывали на нераспутываемые сложности, которые законодатель 1790 года как будто нарочно нагромоздил в знаменитой муниципальной хартии[2]. В начале апреля новая Коммуна всё ещё не сумела законно учредиться, потому что очистительные голосования отсеяли около сорока избранных, а некоторые секции отказывались заменять тех из своих представителей, кто подвергся остракизму. С другой стороны, многие неизбранные члены перестали являться в Ратушу. Пустота всё больше и больше образовывалась вокруг Шометта, Эбера, Паша и других корифеев демагогии. У них уже не хватало статистов, чтобы наполнить большой зал Ратуши и создать достаточную иллюзию для зрителей, теснившихся на трибунах. Из ста сорока четырёх членов, из которых Генеральный совет должен был законно состоять, едва ли пятнадцать или двадцать присутствовали на заседаниях. Поэтому протоколы той поры вместо имён участников обсуждений неизменно содержат банальную пометку: «Муниципальный совет, собравшийся в обычной форме».

3 апреля депутация Коммуны явилась просить Национальное собрание сообразованно разрешить ей присоединить к себе вновь избранных членов, не дожидаясь окончания перевыборов и очищений.

В этот момент Конвенту было не до споров с Коммуной; к тому же ему нечего было ей отказывать; петиция Генерального совета была тотчас обращена в декрет[3]. Коммуна немедленно воспользовалась этим правом и призвала в свою среду около сотни недавно избранных членов.

В течение более пяти месяцев (с 3 апреля по 19 августа 1793 года) Коммуна оказалась, таким образом, составленной из трёх различных элементов, чьё странное соседство ещё не отметил ни один историк. В самом деле, в течение всего этого периода можно было видеть, как заседают и голосуют вперемешку остатки прежнего Совета, существовавшего до 10 августа, граждане, избранные в ноябре, независимо от того, были ли они переизбраны месяц спустя или нет, и, наконец, новые члены, которым декрет от 3 апреля только что позволил занять места заранее, рядом с теми, кого они были призваны заменить[4].

Этот последний элемент очень скоро стал преобладающим и внушил Коммуне новую дерзость. Мы увидим, как она с каждым днём всё решительнее выказывает свой антагонизм с национальным представительством, предъявляет всё более непомерные притязания в вопросе о продовольствии, требует из государственной казны всё более значительные субсидии и со всё возрастающей строгостью осуществляет диктаторские полномочия, которые Конвент имел неосторожность передать ей в руки. Надзор за узниками Тампля стал строже, чем он был даже при муниципальных чиновниках, председательствовавших при казни Людовика XVI[5]. Вторжение в жилища граждан стало делом обычным и повседневным; произвольная выдача паспортов[6], свидетельств о проживании, карточек безопасности, вывешивание имён жильцов на дверях домов делали всё более неотразимым действие полиции, беспрестанно подстёгиваемой доносом, возведённым в гражданскую добродетель.

II

Члены Революционного трибунала были избраны 15 марта[7]; однако в конце месяца они всё ещё не вступили в должность; раздавались очень резкие жалобы на эти задержки. Новые магистраты встревожены и являются 2 апреля к решётке Собрания с жалобой на бездействие, в котором их оставляет комиссия Шести, обязанная приводить в движение и надзирать за Трибуналом.

Гарран-Кулон, председатель комиссии, отвечает, что если обвинительные акты ещё не были представлены на утверждение Собрания, то потому, что он и его коллеги ожидали документов, необходимых для обоснования столь важных производств.

Монтаньяр Ослен не принимает этого оправдания: Всякий раз, говорит он, когда у трибунала позади есть другой трибунал, он не может двигаться. Комиссия бесполезна. Я требую её упразднения. Альбитт добавляет: Если бы речь шла о суде над фальшивомонетчиками, я согла-

сился бы на соблюдение всех форм; но когда надлежит карать заговорщиков, форм соблюдать более не требуется.

Рабо Сент-Этьен, один из Шести, возвращается к объяснениям Гарран-Кулона; но одновременно заявляет, что не противится упразднению комиссии. Марат восклицает: Да, упразднение. Эта комиссия была учреждена лишь для того, чтобы парализовать Революционный трибунал и обеспечить безнаказанность некоторым членам Конвента. Перед настойчивостью Марата и его друзей, перед вялостью жирондистов Собрание не осмеливается долее сохранять комиссию Шести; оно упраздняет как бесполезное колесо этот противовес, который пытались три недели назад противопоставить непомерным полномочиям, предоставленным Революционному трибуналу.

Демагоги, видя, что Конвент так легко уступает, не останавливаются на этом; 6 апреля они вновь идут в атаку и вырывают у Собрания новую уступку. Собрание только что постановило объявить обвинённым одного офицера, предполагаемого сообщника Дюмурье. Шарлье восклицает: К чему этот декрет? Его нет необходимости издавать. Общественный обвинитель должен иметь право непосредственно преследовать лиц, подозреваемых в заговоре. Ланжюине, всегда стоящий на страже, когда речь идёт о противодействии захватам демагогии, отвечает: Во имя принципов, освящающих личную свободу, я требую предварительного вопроса по предложению Шарлье. Но Дантон бросается на трибуну. Конвент, говорит он, пожелал чрезвычайный трибунал, чтобы утешить заговорщиков. В нынешних обстоятельствах нужно придать этому трибуналу быстрое и скорое движение. Вы и сами уже настолько это почувствовали, что три дня назад уничтожили комиссию, которой поручалось составление обвинительных декретов. Если вы оставите за собой право издавать эти декреты, у вас скоро не будет иного занятия — столь велика масса виновных. Вы, без сомнения, хотите, чтобы народ получил правосудие; вы, без сомнения, хотите предупредить в их разрушительных последствиях народные мщенья?

— Да, да, — отвечает множество голосов.

— Так вот, избавьте трибунал от этой формальности, ускорьте его деятельность. Конечно, если бы деспотизм торжествовал, он не принимал бы столько предосторожностей! Не будем подражать его свирепости, но заставим трепетать виновных. Я требую отмены декрета, которым вы объявили необходимым для действия этого трибунала обвинительный декрет Конвента. Разумеется, однако, что эти декреты останутся необходимыми в отношении представителей народа.

— Да, — отвечает Барбару, — нужно, чтобы революционное правосудие было скорым и суровым; но не нужно, чтобы оно было разрушительным для свободы. Если вы оставите в руках одного человека право единолично обвинять и отправлять граждан перед трибунал, вы установите настоящую судебную диктатуру. Будьте непреклонны, но не будьте палачами; будьте законодателями, а не убийцами[8].

Прения закрываются, и Собрание принимает в принципе предложение Шарлье. Тогда Фонфред вносит поправку, требуя распространить исключение, предложенное Дантоном в пользу представителей народа. Хотите ли вы, говорит он, сделать одного человека могущественнее вас самих? Кто поручится, что этому человеку не вздумается в один прекрасный день приказывать арестовать министров, генералов и главных должностных лиц Республики? Он сможет, если пожелает, в одно мгновение овладеть вашими флотами, вашими армиями, вашими финансами. Я требую, чтобы вы исключили из действия общественного обвинителя министров и генералов. Затем вы рассмотрите общий вопрос о государственных должностных лицах.

Финансист Камбон требует, чтобы исключение распространялось также на комиссаров Национального казначейства.

— Тогда, — восклицает Марат, разражаясь смехом, — почему бы вам не распространить его на рабочих, занятых отливкой пушек, изготовлением оружия, одежды, обуви для волонтеров? на граждан, предоставляющих свои руки для защиты отечества, и на женщин, рождаю-

щих ему детей... вот до чего вы нерассудительны, необдуманны... Я призываю вас к здравому смыслу!..

Всё Собрание подскакивает от оскорбления этого жалкого шута. Несколько голосов кричат: В Аббатство Марата! Друг народа призывается к порядку с занесением порицания в протокол.

Конвент тем не менее принимает декрет, предложенный Горой и дополненный Жирондой. Принимая принцип предложения Шарлье и Дантона и довольствуясь внесением в него призрачных изменений, Собрание давало Фукье-Тенвилю право жизни и смерти над всеми гражданами Республики. Тот пользовался им поначалу довольно умеренно и соизволял некоторое время соблюдать известные формы, защищающие обвиняемого. Но пусть наступит день, когда он и его покровители избавятся от неудобных надзирателей, — им останется лишь воспользоваться полномочиями, которые они заранее вырвали у слабости и непредусмотрительности своих противников, чтобы устроить населению правильную бойню.

III

Комитет общественного спасения был назначен поименным голосованием в ночь с 6 на 7 апреля. Барер получил 360 голосов, Дельмас — 347, Бреар — 325, Камбон — 278, Дантон — 233, Жан Дебри — 227, Гюйтон-Морво — 202, Трейяр — 167, Лакруа — 151. Жан Дебри заявил, что не может принять назначение по состоянию здоровья, и был заменён Робером-Ленде.

Комитет немедленно конституировался: Гюйтон был избран председателем, Бреар — заместителем председателя, Барер и Робер-Ленде — секретарями. Менее многочисленный и более однородный, чем Комитет общей обороны, которому он наследовал, он тотчас проявил энергичную деятельность. Через несколько дней после своего учреждения он так очерчивал устами Барера совокупность своих полномочий:

Комитет проникся величием и трудностями, связанными с его миссией. Составить план обороны на суше и на море; исследовать в нынешних обстоятельствах политические взгляды и военное поведение генералов; пересмотреть состав различных штабов; бдиль над обороной побережий; увеличить национальную кавалерию; оживить работы в портах и поддерживать рвение храбрых моряков; подавлять козни; распорядиться об изыскании и изготовлении оружия для многочисленных защитников свободы; следить за новым движением армий, бдиль над их снабжением всякого рода; ускорять действия общественной администрации; надзирать и помогать действиям временного Исполнительного совета; гасить сильными и скорыми мерами факелы гражданской войны — вот главные предметы, которыми он уже занимался.

Чтобы прочно установить всю полноту своей власти, Комитет потребовал и добился от Собрания нескольких декретов, ставивших в полную зависимость от него комиссаров Конвента при армиях. Согласно этим декретам, докладчиком по которым был Бреар, при каждой из армий Республики должно было состоять по три комиссара. Каждый месяц один из трёх должен был возвращаться в лоно Конвента и заменяться другим. Эти комиссары должны были осуществлять самый деятельный надзор за агентами исполнительной власти, генералами и офицерами всех чинов; отчитываться о состоянии складов, поставок, продовольствия и боеприпасов; подвергать самому строгому рассмотрению действия и поведение поставщиков и подрядчиков; принимать, совместно с генералами и другими агентами исполнительной власти, все меры, необходимые для ускорения реорганизации армий, включения волонтёров и новобранцев в существующие кадры. Они облакались неограниченными полномочиями для осуществления делегированных им функций; они могли использовать такое число агентов, какое сочтут нужным. Чрезвычайные расходы, которые они разрешат, должны были оплачиваться государственным казначейством по ведомостям, завизированным ими; их постановления должны были исполняться временно, с обязательством направлять их в течение двадцати четырёх часов в Национальный конвент, а то, что должно было оставаться тайным, — в Коми-

тет общественного спасения. Все гражданские и военные агенты были обязаны повиноваться их требованиям, с правом обжалования в Конвент. Наконец, они должны были без промедления принимать все меры, необходимые для обнаружения, ареста и препровождения в Революционный трибунал всякого военного, всякого гражданского агента и всяких иных граждан, которые помогали, советовали, каким бы то ни было образом благоприятствовали измене Дюмуре или какому-либо иному заговору против безопасности нации, которые злоумышляли дезорганизацию армий и покушались на гибель Республики[9].

Комитет общественного спасения, обеспечив своё преобладающее воздействие на армии, старался удерживать министров в состоянии абсолютного подчинения. Он возвращал им как недостаточные и неполные первые отчёты, которые они ему представили, и принялся бранить их за леность и нерешительность в переписке, которая слишком часто воспроизводила грубости языка, введённые в моду Дантоном[10].

Но в то же время, как трибун заставлял своих коллег перенимать свой стиль циничной грубости, он сообщал им и свою дерзость и побуждал их писать письмо за письмом генералам, чтобы те воспользовались весной для возобновления наступления.

IV

Это возобновление положение нескольких наших армий делало довольно затруднительным.

Северная армия в особенности была жестоко потрясена. К счастью, австрийцы, верные своему слову, соблюдали перемирие, заключённое ими с Дюмуре, и объявили о его прекращении лишь 7 апреля, то есть через сорок восемь часов после бегства этого генерала[11].

Дампьер, всецело занятый восстановлением своей армии, столь чудовищно дезорганизованной изменой своего предшественника, хорошо понимал, что ему будет трудно устоять против энергичной атаки. Поэтому он попытался добиться от Кобурга, чьи миролюбивые наклонности он знал, нового прекращения огня, оставляя тому надежду на обмен арестованных комиссаров на немецких офицеров, интернированных в Париже, а быть может, даже на заложников гораздо более драгоценных, поскольку речь шла об узниках Тампля. К несчастью, эти переговоры затянулись и ни к чему не привели[12].

Депутаты в миссии при Северной армии — Лекеньо, Бельгард и Кошон, а несколько дней спустя Дюбуа-Дюбе и Брие — завязали с принцем Кобургским переписку, в которой имели неосторожность вступить с ним в обсуждение самих принципов Революции и того, как следует рассматривать поведение Дюмуре.

Эта переписка, к которой были приложены различные прокламации принца Кобургского, была сообщена Конвенту министром иностранных дел Лебреном. Но когда секретарь хотел зачитать австрийские документы, Робеспьер формально этому воспротивился. Хотя предложения о сделке, сказал он, поначалу и отвергаются с ужасом, есть умы, которые от частого их повторения могли бы к ним привыкнуть... Пора задуть эти опасные мысли, ибо во Франции есть не только аристократы, но и богатые эгоисты, готовые пожертвовать делом народа ради своих изнеженных наслаждений. Я требую, чтобы вы объявили смертную казнь трусам, которые предложили бы сделку с врагом; более того, я требую, чтобы авторы подобных предложений были объявлены вне закона.

Дантон сменяет Робеспьера, но говорит совсем иначе; он пользуется случаем, чтобы заставить Собрание пересмотреть декреты о всеобщей пропаганде, принятию которых он сам способствовал несколькими месяцами ранее.

Пора, говорит он, чтобы Конвент дал знать Европе, что он умеет сочетать политику с республиканскими добродетелями. Вы издали в минуту энтузиазма декрет, мотив которого был, без сомнения, прекрасен, поскольку вы обязывались оказывать покровительство народам, которые пожелали бы сопротивляться угнетению со стороны своих тиранов. Но этот декрет, казалось бы, обязывает вас оказывать помощь лицам, которые пожелали бы произвести рево-

люцию в Китае. Нужно прежде всего думать о сохранении нашего политического тела и созидать французское величие. Пусть Республика упрочится; Франция своими просвещением и своей энергией будет притягивать к себе другие народы. Граждане, это гений свободы запустил колесницу революции. Весь народ тянет её, и она остановится у пределов разума. Покажем, что мы достойны быть её возницами; декретируем, что мы не будем вмешиваться в то, что происходит у наших соседей; но декретируем также, что Республика будет жить. Осудим на смерть того, кто предложил бы сделку, кроме сделки, основанной на принципах нашей свободы.

Конвент аплодирует этому возврату к здравому смыслу, к истинным принципам; он единогласно принимает декрет, составленный Дантоном. Он гласит:

Национальный конвент объявляет от имени французского народа, что он никоим образом не будет вмешиваться в управление других держав; но он одновременно объявляет, что скорее погребёт себя под собственными развалинами, чем потерпит, чтобы какая-либо держава вмешивалась во внутренний строй Республики и влияла на создание Конституции, которую она желает себе дать.

Конвент декретирует смертную казнь всякому, кто предложил бы вести переговоры или договариваться с вражескими державами, которые предварительно не признали бы торжественно независимость французской нации, её суверенитет, неделимость и единство Республики, основанной на свободе и равенстве.

Робеспьер требует тогда, чтобы было ясно оговорено, что состоявшееся голосование не наносит ущерба присоединённым странам. Оно не может нанести им ущерба, отвечает Лакруа, поскольку эти страны составляют часть Республики.

Несколько голосов требуют простого перехода к повестке дня, но Дюко восстаёт против подобного решения, которое было бы настоящим отказом в правосудии. Вы, говорит он, связали веру французской нации; вы не можете сделать нацию клятвопреступницей... Это было бы изменой, вероломством, на которые вы неспособны.

Конвент, по предложению Лакруа и Дюко, толкует свой первый декрет следующим декретом:

Национальный конвент, по требованию, заявленному одним из его членов, чтобы Конвент объявил, что он не намерен наносить ущерб правам стран, присоединённых к Французской республике, и что он никогда не отдаст их тиранам, с которыми находится в войне, переходит к повестке дня, мотивированной тем, что эти страны составляют неотъемлемую часть Республики.

Через день, 15 апреля, переписка Брие и Дюбуа-Дюбе с Кобургом зачитывается в Конвенте и вызывает на всех скамьях живое неодобрение. Дюко и Бреар настаивают на том, чтобы как можно скорее прекратить скандальную полемику, которую комиссары Конвента затеяли с вражескими генералами. Они хотят, чтобы полномочия этих представителей, не сумевших поддержать достоинство французской нации, были немедленно отозваны.

Всякое предложение, способное показать иностранным державам твёрдую волю энергично вести войну, не могло не быть встречено Конвентом благосклонно. Поэтому он отзывает обоих своих комиссаров и, по предложению Барера, принимает манифест, обращённый ко всем народам и ко всем правительствам, с протестом против недостойного нарушения права народов, которое отдало Камю и его коллег в руки Австрии[13].

Оставалось лишь воззвать к силе оружия. Австрийцы одновременно угрожали Мобёжу, Лиллю, Валансьену, Конде, но довольно вяло; ибо они решили действовать лишь с крайней осмотрительностью. Они ждали, пока пруссаки овладеют Майнцем, довольствуясь до тех пор занятием сильной позиции на Шельде.

Дампьер, со своей стороны, следуя инструкциям исполнительной власти, держался в обороне и не рисковал ни одним движением, которое могло бы привести к генеральному сражению. Все свои заботы он прилагал к реорганизации своей армии и к восстановлению в ней

той уверенности в себе, которую она утратила после поспешной эвакуации Бельгии и измены своего главнокомандующего. Ему приходилось обращать внимание на огромное пространство территории, ибо его командование охватывало сухопутную границу от Седана до Дюнкерка и побережье от Дюнкерка до устья Сены; ему нужно было, следовательно, бдительно следить не только за предприятиями австрийцев, но и за действиями англичан, чей флот ожидали с минуты на минуту. Оставалось узнать, какой пункт побережья он атакует. В последних числах апреля он появился перед Дюнкерком, стремясь таким образом связать свои действия с действиями австрийской армии. Английский адмирал немедленно потребовал сдачи крепости; но Дюнкерк был вверен энергичному генералу, Паскалю Керенвейеру, который писал, с одной стороны, Конвенту: «Я упрям, как бретонец, я не капитулирую», а с другой — английскому адмиралу: «Сделайте мне честь атаковать меня; я буду иметь честь ответить вам по-военному; именно так заканчиваются ссоры между людьми нашего звания».

Можно было быть уверенным, что Дюнкерк окажет долгое сопротивление; но были основания опасаться за Конде, крепость довольно слабую, плохо снабжённую продовольствием и боеприпасами, перед которой Кобург к тому же сосредоточил большую часть своих сил. Уже 1 мая Дампьер начинает маневрировать, чтобы деблокировать этот городок; после нескольких стычек ему удаётся выбить врага из аббатства Виконь и из части лесов Сент-Амана; но его настигает пушечное ядро, оторвавшее ему бедро, и два дня спустя он умирает от раны.

Именно 10 мая Конвент узнаёт о славной смерти Дампьера; ему предлагают почести Пантеона; но по предложению Бреара переходят к повестке дня, мотивированной тем, что всякий француз, умирающий за свою страну, вечно живёт в памяти переживших его[14].

V

Смерть Дампьера оставила вакантным командование самой важной из армий Республики. Представители в миссии при Северной армии — Кошон, Бельгард, Дюбуа-Дюбе и Брие — предлагают Комитету общественного спасения прислать им опытного генерала и сообщают, что единодушное желание армии — в пользу Кюстина.

Комитет спешит удовлетворить эту просьбу и устами Барера объявляет 13 мая Конвенту, что он приказал исполнительному совету принять постановление, призывающее Кюстина к командованию Северной армией, а Ушара — к командованию Рейнской армией.

Барер пользуется случаем, чтобы произнести пышную похвалу генералу Рейнской армии, который один устоял против дипломатической мании, которой, кажется, охвачены все генералы Республики, и сумел установить в своём лагере самую строгую дисциплину.

Конвент утверждает постановление исполнительной власти, и, на своё несчастье, Кюстин принимает назначение. Быть может, оставаясь в Эльзасе и Пфальце, он ещё мог бы смягчить ошибки, совершённые им за последние три месяца; но после его отъезда они стали очевидны для всех. Эти-то ошибки нам теперь и предстоит рассказать.

Прусская армия, отвоёвав Франкфурт[15], не тревожила Майнц сколько-нибудь серьёзно. Суровости зимы в соединении с дипломатическими осложнениями, возникшими между державами, участвовавшими в разделе Польши, обрекли её на полное бездействие. Австрийцы уже более пятнадцати дней как возобновили военные действия на Рёре, когда их союзники решились атаковать линию обороны французов на Наэ. Несколько дней спустя основная часть прусской армии перешла Рейн у Рейнфельда. Несмотря на несколько блестящих боёв, которые Кюстин и его помощники дали на подступах к Майнцу, они вынуждены были отступить за этот город, и 22 000 человек оказались в нём заперты без связи с остальной армией. Тем временем Кюстин, застигнутый врасплох на посту Оберфлессхайм, энергично оборонялся; но, слишком слабый, чтобы противостоять врагу, располагавшему силами, по меньшей мере втрое превосходившими его собственные, он вынужден был отступить к Франкенталю и уничтожить огромные военные склады, содержавшие все запасы Рейнской армии. Он на мгновение остановился в Ландау, затем должен был уйти за вейсенбургские линии, бросив

таким образом все свои завоевания и оставив даже часть французской территории открытой для вторжений пруссаков.

Момент был, быть может, неудачно выбран для включения во Французскую республику стран, которые нашим солдатам только что пришлось покинуть; но Конвент стремился подражать римскому сенату, который выставил на продажу поле, где стоял лагерем Ганнибал. Уже 14 марта он объявил, что присоединяется к пожеланию, выраженному тридцатью двумя общинами, зависевшими от Пфальца и герцогства Цвейбрюккен, о присоединении к Франции. 30 марта, в тот самый день, когда французская армия отступала, бросая на произвол судьбы Майнц и его защитников, он декретом принял пожелание, свободно выраженное от имени свободных народов Германии делегатами Майнца, Вормса, Дюркгейма и восьмидесяти других городов и общин, собравшихся в Национальный конвент, и объявил, что отныне эти города и общины составляют неотъемлемую часть Республики.

Что окончательно обеспечило Кюстину полное доверие Конвента, так это позиция, которую он занял в момент, когда узнал об измене Дюмуре. Австрийский генерал Вурмзер направил генералу Жийо, командовавшему в Ландау, требование примкнуть к правому делу. Тот передал письмо Вурмзера своему непосредственному начальнику, который поспешил ответить следующей нотой:

Предложение генерала Вурмзера есть по меньшей мере бахвальство, ибо он воображает запугать или соблазнить предложением покровительства короля, его господина, французов, которым поручено защищать Ландау. Генерал Кюстин спешит сообщить ему, что французы не желают чьего бы то ни было покровительства и что армия, которой он командует, верная клятве, принесённой Республике, будет защищать свободу и равенство, преданные во Фландрии Дюмуре. Генерал Вурмзер слишком хорошо знает французскую нацию, чтобы не ведать, что двадцать четыре миллиона человек, её составляющих, не примут закона ни от кого[16].

Через несколько дней после написания этого письма Кюстин отправился к своему новому посту, оставив Ушару трудную задачу — спасти Майнц и возобновить наступление.

VI

Альпийская армия находилась под командованием Келлермана, чья главная квартира была в Шамбери. Во главе армии Приморских Альп стоял Бирон, проживавший в Ницце. Оба, особенно второй, были подозреваемы в приверженности Филиппу Эгалите; поэтому за ними пристально следили комиссары Конвента: Грегуар и Жаго — в Ницце, Эро-Сешель и Симон — в Шамбери.

Когда известие об измене Дюмуре достигло столицы Савойи, эти два последних делегата собрали войска; затем в горячей речи, в которой они обличали гнусное поведение главнокомандующего Северной армией, они призвали солдат возобновить клятву Республике. Армия выказала большое воодушевление; один лишь главнокомандующий сохранял выжидательную и довольно зловещую позицию. Представители народа в первый момент побоялись предпринять против Келлермана, весьма любимого своими войсками, несвоевременную демонстрацию и не стали принуждать его объясниться категорически. Нужно было застигнуть врасплох сокровенную мысль генерала, и вот на какую, довольно неблагоприятную, хитрость решились. Трое других комиссаров Конвента — Лежандр, Ровер и Базир — находились в Лионе: Эро-Сешель написал им доверительно, чтобы они задержали курьера, отправленного Келлерманом в Париж, ознакомились с письмами, которые этот курьер повезёт, и прислали ему, Эро, копию тех из них, которые покажутся им компрометирующими. Одновременно он вручил генералу Альпийской армии безразличное, показное письмо, адресованное Роверу, которое курьеру было приказано передать при проезде через Лион в собственные руки адресата. Расставив таким образом ловушку, комиссары в Шамбери стали ждать. Три дня спустя, получив от своих лионских коллег несколько писем, которые те сочли нужным перехватить, они явились с большой пом-

пой производить обыск в бумагах Келлермана; но после четырёх часов тщательнейшего исследования они вынуждены были признать и провозгласить полную невиновность генерала[17].

Бирон находился в положении гораздо более трудном, чем Келлерман; его отношения с герцогом Орлеанским были совершенно близкими, и они только что получили новое подтверждение с прибытием в главную квартиру в Ницце второго сына этого принца в качестве генерал-адъютанта, подполковника.

Первой депешей, которая могла заставить Бирона заподозрить, что в Париже происходят серьёзные события, было постановление Комитета общей обороны, предписывавшее арест герцога де Монпансье. Это постановление не сопровождалось никаким пояснительным письмом.

В тот самый момент, когда Бирон только что получил депешу Комитета, он встретил принца в своей передней; он сделал ему знак войти, и, когда они остались одни, показал роковой приказ. «Касается ли он только меня?» — спрашивает его молодой офицер. — «Только вас. Остальной вашей семьи не упоминают, и, будь это общей мерой, я полагаю, мне бы о том сообщили. Есть ли у вас бумаги, которые могут вас скомпрометировать? Пойдём рассмотрим их и сожжём, прежде чем их опишут и опечатают. Ах! моё положение ужасно; я тысячу раз предпочёл бы получить пулю в лоб, чем такое поручение! но поспешим с самым неотложным». Они спешат отправиться на квартиру принца и уничтожить несколько бумаг, в том числе два письма герцога Шартрского. Молодой генерал не скрывал в них от брата отвращения, которое испытывал, видя, как дело, которому они оба посвятили себя, компрометируется столькими крайностями, и желание от него отойти.

Едва эти письма были уничтожены, как к герцогу де Монпансье явились муниципальные власти Ниццы, предупреждённые самим Бироном; но они уже ничего не нашли для опечатывания; пришлось довольствоваться производством ареста принца.

В тот же вечер узник под конвоем жандармского офицера отправился по дороге на Париж, как предписывал приказ Комитета общей обороны. Но, прибыв в Экс, он должен был повернуть назад до Марселя, где был заключён сначала в форт Нотр-Дам-де-ла-Гард, а затем в форт Сен-Жан. Его отец и младший брат вскоре присоединились к нему.

До 15 апреля в Ницце ничего не просочилось о событиях, совершившихся в Сент-Амане и в Париже. Однако Бирон кое-что о них знал, ибо получил 12-го с особым курьером письмо от своего друга, генерала Валанса, извещавшее его об аресте комиссаров Конвента[18] и дававшее предчувствовать вооружённое выступление Дюмуре; но он ничем этого не выдал и ждал событий. Наконец прибыли и декрет, ставивший вне закона главнокомандующего Северной армией, и депеши министра, сообщавшие о бегстве изменника. Колебаться больше было нельзя. Бирон поспешил передать представителям народа письмо Валанса и написать Конвенту письмо, полное изъявлений преданности. Тем не менее некоторое время спустя поведение Бирона показалось Комитету общественного спасения подозрительным. Его отправили командовать армией, предназначенной действовать против повстанцев Пуату и Бретани, — армией, которая в тот момент была представлена лишь несколькими малочисленными отрядами, разбросанными по огромному пространству территории и почти столь же недисциплинированными, как и шайки, с которыми им предстояло сражаться[19].

VII

В предыдущем томе мы рассказали о начале восстания на Западе[20]. Возобновим наш рассказ там, где мы его оставили, то есть в момент, когда департаментские власти решают повсюду перейти в наступление, чтобы уничтожить в зародыше мятеж этих крестьян, плохо вооружённых, без вождей и без боеприпасов.

Некоторое число комиссаров Конвента, посланных в начале марта для ускорения набора трёхсот тысяч человек, находилось на театре беспорядков в момент их начала. Это были, в частности: Бийо-Варенн и Севест — в Ренне, Фуше и Вилье — в Нанте, Шудьё и Ришар — в Анжере; повсюду они давали сильный толчок продвижению республиканских войск.

Колонна выходит из Бреста 21 марта под командованием генерала Канкло, направляется к Сен-Поль-де-Леону и за восемь дней уничтожает повстанческие шайки и восстанавливает спокойствие во всей нижней Бретани[21].

Другая колонна отправляется из Ренна под командованием Бейссера; представители народа Бийо-Варенн и Севест её сопровождают. Она направляется к Редону и Ла-Рош-Бернару, где встречает мало сопротивления, и последовательно занимает все посты, удерживаемые мятежниками на Вилене. Первый очаг мятежа, Ла-Рош-Бернар, взят обратно без боя вечером 29 марта. Один из убийц Совёра немедленно предстаёт перед военной комиссией, и его судят при свете факелов. Ему отрубают голову на казённой части двенадцатифунтового орудия. Труп остаётся выставленным в течение сорока восьми часов[22].

В департаменте Кот-дю-Нор образовалось лишь одно сколько-нибудь значительное скопище, между Монконтуром и Ламбалем. Несколько батальонов национальной гвардии оказалось достаточно, чтобы рассеять мятежников. Наконец, 26 марта две колонны общей численностью 900 человек выступают из Ванна с артиллерией и выбивают повстанцев из городка Рошфор, выведя из строя от 150 до 200 человек.

К 1 апреля из пяти департаментов Бретани лишь один — департамент Нижней Луары — мог ещё внушать серьёзные опасения. Притом не за часть, расположенную на правом берегу Луары, а лишь за ту, что находится на левом берегу и образует так называемую страну Рец. Эта местность с самого начала восстания не переставала быть театром кровопролитных боёв и ужасающих возмездий. Машкуль стал центром мятежа. После нескольких безуспешных попыток примирения, о которых мы говорили выше[23], синие, допущенные было в состав комитета обороны, вынуждены были скрываться, и белые, с Сушю во главе, остались хозяевами города. Первым их действием было опубликование следующей прокламации:

Народ страны Рец и прилегающих земель, собравшийся сам собою в качестве корпуса нации в городе Машкуле, дабы остановить разбой, сбросить иго тирании и вновь обрести свои права и собственность, которых он был лишён силой и насилием разбойников, узурпировавших законную власть, наложивших святотатственные руки на особу лучшего из королей и разрушивших монархию, правосудие и религию, объявляет перед лицом неба и земли, что он не признаёт и никогда не признает иного, кроме короля Франции, своего единственного и законного государя, которому клянётся в повиновении и верности; что он не признаёт более ни так называемый Национальный конвент, ни департаменты, ни дистрикты, ни муниципалитеты, ни клубы, ни национальные гвардии.

Первая атака из главной квартиры в Машкуле направлена против Порника. Воспользовавшись отсутствием национальных гвардейцев, ушедших в окрестности охранять прибытие обоза с зерном, белые, числом от трёх до четырёх тысяч, подходят к самым воротам города, не встретив ни поста, ни часового. После перестрелки, длившейся несколько минут, они проникают в город; но вскоре, забыв все правила осторожности, они принимаются грабить и пить; многие падают замертво пьяными на углах улиц и не способны оказать ни малейшего сопротивления, когда в семь часов вечера появляются ушедшие утром национальные гвардейцы: те легко одолевают этих рассеявшихся и перепившихся захватчиков и убивают двести человек[24].

Уцелевшие участники этой стычки обрушились на своего командира, маркиза де Ла-Рош-Сент-Андре, которому с большим трудом удалось спастись от их ярости.

Шаретт до тех пор делил с ним командование всей страной. Оставшись один, он спешит отомстить за неудачу, понесённую его людьми при Порнике. 27 марта он вновь занимает этот городок после довольно оживлённого сопротивления и в тот же день сообщает о своей победе роялистскому комитету Машкуля в письме, где, по иронии, заимствует несколько выражений из демагогического словаря:

Братья и друзья, мы взяли Порник с помощью Верховного существа за полчаса. Так как разбойники этого места укрылись в разных домах, откуда могли причинить нам много зла, я не нашёл иного средства, кроме огня, чтобы выгнать этих мерзавцев из их нор. Вы найдёте, быть может, меня суровым в моих действиях; но вы знаете, как и я, что необходимость есть долг. Потери врага составляют около 60 человек. Мы имеем лишь двух раненых, притом один ранен по собственной вине. Вы получите завтра 18-фунтовую пушку и камень, взятые нами в Порнике.

Мы, братья и друзья, преданы правому делу до самой смерти.

Шевалье ШАРЕТТ, командующий.

Порник, 27 марта 1793 года.

Тем временем шайки вооружённых крестьян рыскали по округе, захватывая всех синих, проживавших в стране, и доставляя их в Машкуль; но часто пленники не достигали места назначения. В частности, четверо патриотов было убито в Бурнёфе; четырнадцать пленных, следовавших из Пор-Сен-Пера, были зарезаны 27 марта при входе в Машкуль, прежде даже, чем их успели взять под стражу.

Вскоре тюрем становится недостаточно, чтобы вместить всех несчастных, которых туда набивают. Комиссия, учреждённая и возглавляемая Сушо[25], устраивается, чтобы судить их, или, вернее, указывать тех, кто должен быть умерщвлён. 3 апреля — день ужасной памяти для западных областей — пятьдесят восемь узников[26] связаны друг с другом длинной верёвкой, которая, как говорили исполнители этой печальной трагедии, образовывала чётки, выведены в поле, где заранее вырыта широкая яма, и расстреляны[27].

Эти убийства некоторые ультрареволюционные историки ставили в параллель с сентябрьскими убийствами в Париже, с убийствами, приказанными в Лионе и Нанте Фуше и Каррье. И те и другие должно заклеить одинаковым осуждением; но нужно также признать, что в каждом из этих трёх городов число жертв было примерно вдесятеро больше, чем число несчастных, погибших в Машкуле и в стране Рец. В этих ужасных войнах возмездий, где друг другу отвечают лишь ударами чудовищных жестокостей всякого рода, историк, чтобы быть справедливым, вынужден подсчитывать число жертв и возлагать наибольшую долю ответственности на ту партию, которая принесла их больше.

Впрочем, убийства в Машкуле недолго оставались безнаказанными; Бейссер, помощник Канкло, овладел этим городом менее чем через пятнадцать дней после событий, которые мы только что рассказали. Сушо и его главные сообщники были схвачены, судимы и казнены в течение двадцати четырёх часов после занятия города республиканцами[28].

В Анжу и в нижнем Пуату война продолжалась с переменным успехом. Победа, можно сказать, каждый день переходила из одного лагеря в другой, благоприятствуя то синим, то белым, смотря по тому, которая из двух армий умела выдержать первый натиск противника; ибо паника играла большую роль во всех столкновениях. Национальные гвардейцы были не намного более привычны к огню, чем пуатевинские крестьяне; часто они обращались в бегство, несмотря на усилия старых офицеров, присланных им из Парижа; затем, чтобы оправдаться, они обвиняли в измене этих самых офицеров и доносили на них представителям народа в миссии, а при случае и Конвенту.

Вандейская армия рассеялась на время пасхальных праздников (первые дни апреля); но вскоре она появилась вновь, как по волшебству, многочисленнее, чем когда-либо. При этом возобновлении военных действий несколько отрядов выступили во главе с бывшими дворянами, уже служившими прежде: д'Эльбе, Боншаном, Лескюром; тогда как другие шли под командованием первых вождей восстания — Стоффле, Катлино и прочих. Все они соединились, чтобы атаковать генерала Беррюе, стоявшего в Шемийе; но тот разбил их и преследовал до Бопрео. Вскоре они взяли реванш, внезапно обрушившись на маленькую армию Кетино, состоявшую большей частью из национальных гвардейцев Мена и Луары. Именно в

этом последнем деле Ларошжаклен впервые выступил во главе своих крестьян. Перед боем он обратился к ним со знаменитыми словами, которые могут служить девизом для всех военных, без различия партий: «Пойдём искать врага. Если я отступлю — убейте меня; если я пойду вперёд — следуйте за мной; если я погибну — отомстите за меня».

Отрадно для историка иметь возможность завершить рассказ о стольких ужасах такими словами [29].

Примечания:

[1] См. т. V, книга XX, §§ II и IX.

[2] Мы подробно объяснили положения этого закона в т. I, примечание III; к нему и отсылаем наших читателей.

[3] Декрет от 3 апреля гласил следующее:

Национальный конвент, заслушав у решётки депутацию Генерального совета Парижской коммуны, разрешает Совету этой Коммуны, в трудных обстоятельствах, в которых находится общественное дело, присоединить к себе, в ожидании организации новой муниципальной власти, всех граждан, избранных для окончательного составления Генерального совета Коммуны.

[4] В конце этого тома читатель найдёт примечание, относящееся к этому второму периоду истории Парижской коммуны, который начинается в декабре 1792 года и заканчивается 19 августа 1793 года, когда была введена так называемая окончательная муниципальная власть. Начиная с этого времени, муниципальных выборов в Париже больше не было. Комитет общественного спасения, державший в своих руках все полномочия, даже те, которых королевская власть никогда не имела, присвоил себе право отзывать кого ему угодно из Совета Коммуны и собственной властью замещать вакансии, возникавшие там вследствие смерти естественной или насильственной, отзыва или отставки. До 9 термидора он отправил на гильотину шесть членов Совета и отстранил от должности около двадцати. После поражения Робеспьера и объявления его приверженцев вне закона девяносто шесть членов Коммуны, то есть более двух третей, погибли на эшафоте.

[5] В конце этого тома мы приводим примечание о доносах, сделанных 19 апреля Тисоном на нескольких членов парижского муниципалитета, которые, находясь в карауле в Тампле, выказали некоторое сострадание к несчастьям королевской семьи. Г-н де Бошен в четырёх томах, посвящённых им памяти Людовика XVII и Мадам Елизаветы, пролил новый свет на этот эпизод истории узников Тампля. Мы отсылаем наших читателей к этим рассказам, полным захватывающего интереса; сами же ограничиваемся публикацией нескольких неизданных подробностей о муниципальных чиновниках, на которых донёс Тисон, и о самом Тисоне.

[6] О строгости выдачи паспортов можно судить по следующему постановлению:

Заседание 4 апреля 1793 года.

Генеральный совет постановляет, что паспорта не будут выдаваться бывшим дворянам или священникам, а равно женщинам, не имеющим никакой необходимости путешествовать, и что вообще они будут выдаваться лишь негоциантам, за исключением случаев неотложных и непредвиденных, о которых будет докладываться Совету.

[7] См. т. VI, книга XXIX, § IX и книга XXX, § VIII.

[8] Вся эта первая часть прений в «Moniteur», № 99, крайне урезана. Мы восстанавливаем её по рассказу «Journal des Débats et Décrets», № 200, с. 103 и 104.

[9] «Moniteur», № 101, с. 93.

[10] Вот письмо, которое Серван в своей «Tableau militaire de la campagne de 1793» сохранил для нас.

Представители народа, составляющие Комитет спасения, — военному министерству и его помощникам.

Свобода, Равенство, Братство.

Идите вы к чёрту! Да пошлёт вам дьявол гибель, если вам нужны приказы, чтобы выдавать сёдла, когда вам было предписано поставлять лошадей! Нужны ли вам также приказы, чтобы вы выдавали уздечки?

ДАНТОН, РОБЕР-ЛЕНДЕ, КАМБОН-старший.

[11] Вот переписка, которой обменялись по этому случаю Клерфэ и французские генералы.

Господину генералу, командующему в Мобёже.

Сударь,

поскольку мы условились предупреждать друг друга за двадцать четыре часа, когда прекращение военных действий может быть прекращено с той или другой стороны, я должен предупредить вас, генерал, что обстоятельства не позволяют мне продлевать его далее и что вы можете рассчитывать на него ещё лишь двадцать четыре часа.

Главная квартира в Монсе, 7 апреля 1793 года.

В отсутствие Его Светлости господина фельдмаршала, принца ДЕ КОБУРГА,
КЛЕРФЭ.

Генерал, быть может, было бы полезно, чтобы перемирие, которое Дюмурье заключил с вами, ещё продолжалось, и тогда было бы возможно освободить лиц, которых исполнительная власть была вынуждена арестовать.

При продолжении прекращения военных действий я отправил бы в Париж начать переговоры и предложить обмен четырёх депутатов Национального конвента и министра Бёрнонвиля на тех самых лиц, которые содержатся сейчас в Париже.

Я был бы рад возобновить переговоры, которые обеспечили бы славу обеих армий, покой и спокойствие империи и Французской республики.

Рассчитываю на ваш скорый ответ.

Главкомандующий Северной армией

ДАМПЬЕР.

8 апреля 1793 года.

[12] Мы разыскали в венских архивах следующее письмо, направленное принцем Кобургским графу Мерси-Аржанто; оно показывает состояние этих переговоров в начале мая.

Его Превосходительству господину графу де Мерси-Аржанто.

Главная квартира в Кьеврене, 3 мая 1793 года.

С величайшим удовольствием, господин граф, удовлетворил бы я просьбу, которую Ваше Превосходительство сооблаговостили изложить мне в вашей записке от 13 апреля, включив в переговоры об обмене королевской семьи снятие печатей, наложенных на ваш парижский дом. Это было бы одновременно актом справедливости и благоразумия и следствием моего искреннего желания быть вам полезным. Но имею честь предупредить Ваше Превосходительство, что эти переговоры состояли до сих пор лишь в смутном и незначительном предложении, сделанном генералом Дампьером по собственному почину, без разрешения царевых родственников разбойников, держащих эту августейшую и несчастную семью в оковах. Ему отвечали также в общих выражениях, чтобы не компрометировать без пользы достоинство государя, и ограничились добавлением, что есть лишь один случай, который нет нужды называть, когда задержанные комиссары должны были бы трепетать за свою жизнь; а позже, по поводу нового требования и без упоминания об узниках Тампля, комиссарам в Бушене, сменившим четверых отправленных в Маастрихт, было написано, что судьба этих последних находится в их руках. Вот в чём состояли все переговоры. Если бы предстояло начать такие, которые имели бы основания и какую-либо видимость успеха, будьте уверены, господин граф, что я не забыл бы справедливого требования, которое Ваше Превосходительство сооблаговостили мне направить.

Вся переписка с Дампьером и с комиссарами была сообщена нашему двору; ответа ещё нет.

КОБУРГ.

[13] Этот манифест и речь Барера находятся в «Moniteur», № 109. Как комментарий к мерам, принятым Конвентом, нам представляется интересным показать читателям конфиденциальный циркуляр, направленный несколько дней спустя Комитетом общественного спасения

представителям в миссиях. Он доказывает, что в действительности носители исполнительной власти не были столь свирепы, сколь хотели казаться.

Представители народа, члены Комитета спасения, — представителям народа, депутатам при армии...

Граждане наши коллеги,

всем нам важно знать силы и намерения наших врагов. Хотя и не подобает вступать в политические переговоры, и мы должны заниматься лишь войной и развитием всех наших сил и национальной мощи, было бы, однако, весьма выгодно, если бы мы могли проникнуть в намерения воюющих держав; нужно бороться также и с политикой наших врагов.

Конвент не одобрил того, что двое из наших коллег завели слишком пространный переписку с генералом Кобургом. Он с нетерпением выслушал похвалы чувствам австрийского генерала и слишком явные старания убедить его; он усмотрел характер слабости в самих усилиях, которые наши коллеги прилагали, чтобы оправдать права нации; он счёл, что желать доказывать права нации — значит их ослаблять.

Мы не должны помышлять о переговорах, но не найдёте ли вы иногда случай вырвать тайну у наших врагов, не компрометируя национального достоинства и звания, которым вы облечены, и не ввязываясь в обсуждения, приличествующие лишь политическим агентам и стоящие ниже представителя народа?

Одни лишь обстоятельства могут предоставить вам драгоценные случаи, которых человеческая предусмотрительность не может предвидеть; просим вас не пренебрегать этим методом переписки и сообщать нам то, что станет вам известно.

[14] В царствование короля Луи-Филиппа памятник генералу Дампьеру был воздвигнут на том самом месте, где он пал под огнём неприятеля.

[15] См. т. VI, книга XXVII, § IV.

[16] Мы разыскали в венских архивах письмо императора Франца, относящееся к переговорам, начатым Вурмзером с Жийо и Кюстином. Этот документ показывает странные иллюзии, которые питали в Вене относительно внутреннего состояния Франции:

Дорогой генерал от кавалерии граф Вурмзер,

узнав из вашего рапорта от 14 сего месяца о переговорах, которые вы ведёте как с комендантом Ландау Жийо, так и с генералом Кюстином, я должен обратить ваше внимание не только на поведение французского генерала, но и на нынешнее состояние самой Франции, чтобы хитрость первого не ввела вас в заблуждение и чтобы вы не подвергли себя риску потерять славу, справедливо приобретённую вашим мужеством и мудрым управлением вашими войсками. Франция объявила себя свободным государством; её генералы поставлены под начало комиссаров, приданных им Национальным конвентом; но ни те, ни другие не уполномочены без особого приказа Конвента вступать в переговоры с врагами Республики и тем более предпринимать шаги, конечным результатом которых был бы мир. В самой Франции царит такое смятение, что можно с основанием предположить, что французы не смогут в эту кампанию действовать с той энергией, которая была бы необходима, чтобы противостоять продвижению соединённых армий. Что же остаётся тогда французским генералам, как не обманывать нас притворными переговорами и вырывать у нас отсрочками те выгоды, которые даёт им их нынешняя слабость, чтобы дожидаться подкреплений, которые им в конце концов должны прислать? Следует, следовательно, гораздо более стараться атаковать неприятельские войска как можно чаще и выбивать их с позиций, вместо того чтобы давать себя обманывать бесполезными переговорами и питать себя пустыми надеждами. Пока французские армии будут ещё в состоянии держаться в поле и не будут полностью рассеяны нашими, никакие переговоры, начатые с целью добиться полюбовной сдачи их крепостей, не увенчаются благоприятным результатом. Но если будет осуществлено рассеяние неприятельских армий, если будут приняты необходимые меры и подготовлены нужные средства, чтобы можно было подойти к неприятельским

крепостям, тогда, возможно, сопротивление в них окажется слабым, и, следовательно, ими можно будет легко овладеть. Поскольку из рапорта принца Рёйсса от 10 сего месяца я увидел, что для поддержки ваших операций вам нужны подкрепления, я немедленно передал высшему придворному военному совету приказ отправить вам войска, предназначавшиеся для образования в Тироле резерва для Италии, и уведомить вас об этом, чтобы вы могли сделать нужные распоряжения для их использования.

Вена, 18 апреля 1793 года,
ФРАНЦ.

[17] Комитет общественного спасения рассудил так же. Вызванный в Париж, генерал Келлерман предстал перед Комитетом 17 мая и полностью оправдался. Торжественным декретом, изданным по докладу Комитета, было объявлено, что он никогда не переставал заслуживать доверия Республики. В конце тома читатель найдёт текст официальных документов, относящихся к этому делу.

[18] Это письмо гласило следующее:

Сент-Аман, 2 апреля.

Считаю нужным, дорогой мой Бирон, предупредить вас о неслыханном положении, в котором мы находимся: Дюмуре под арестом и сам приказывает арестовывать министра и комиссаров; Лилль и Валансьен полны депутатов; враги числом 60 000 человек, одержавшие победу, в двух лье от нас; нет провизии и нет фуража — вот до чего довели Республику; все генералы арестованы, кроме меня, потому что я ранен; Линьевиль, д'Арвиль, Буше и т. д. и т. д. Изменники, продающие Францию, приказывают арестовывать генералов, чтобы легче её выдать.

Какая разница с нашей участью, когда в Шампани мы предпочитали смерть оковам деспотам! Здесь представителей народа приводят в движение, быть может, без их ведома, и губят Республику. Прощайте, дорогой генерал; вот вы и осведомлены о нашем положении. Я подам в отставку; больной и раненый, я не могу с пользой служить здесь в таких обстоятельствах; сердце моё изъязвлено.

Главнокомандующий
ВАЛАНС.

[19] Чтобы обозреть положение всех армий Республики, нам следовало бы сказать слово о двух армиях — Восточных Пиренеев и Западных Пиренеев. Но эти две армии существовали ещё, так сказать, лишь на бумаге. Первые военные действия со стороны испанцев начались только 18 мая атакой лагеря в Тюире.

[20] См. т. VI, книга XXX, § II.

[21] В конце этого тома мы приводим три письма генерала Канкло, которые раскрывают подробности этой экспедиции.

[22] В конце тома мы приводим письмо Бийо-Варенна и Севеста от 29 марта. Оно дополняет сведения, содержащиеся в письмах от 22 и 23 марта, исходящих от тех же комиссаров и помещённых в «Moniteur» (№ 85 и 86).

[23] См. т. VI, книга XXX, § V.

[24] На следующий день после взятия Порника молодой вандейский начальник по имени Фламин, преданный хозяином, которому он доверился, был приведён к Куэффе, командиру национальной гвардии Порника. Тот без всякого суда убил его выстрелом из пистолета в упор.

[25] Сушю родился в Сент-Андре-де-Шато-Реньо, близ Тура, и был фискальным прокурором при сенъориальном суде, принадлежавшем родственнику Шаретта. После учреждения новых трибуналов он обосновался в Машкуле и совмещал должность стряпчего с должностью начальника канцелярии дистрикта.

[26] Среди жертв massacre в Машкуле различные конституционные власти имели своих представителей, а именно: 1) дистрикт: Жобер, вице-председатель; Шаррюо, Бетюи, адми-

нистраторы; Юбен-Жирардьер, прокурор-синдик; Гарро, казначей. 2) Трибунал: Кавьезель, председатель; Массон, национальный комиссар; Шаррюо, секретарь. 3) Муниципалитет: Баре, мэр; Гильбо, прокурор-синдик; Буасси, Гёперу, Деланд, Фортино, Гри, члены совета коммуны; Безьян, секретарь. 4) Национальная гвардия: Вриньо и Барон, офицеры. 5) Конституционное духовенство: Маршесс, кюре Бурнёфа.

Большая часть подробностей, которые мы здесь приводим, взята из книги, полной любопытных фактов и интересных деталей, только что изданной в Нанте г-ном Альфредом Лалье под заглавием: «Le District de Machecoul, de 1788 à 1793».

[27] Выражение «чётки» дало повод к всевозможным выдумкам: утверждали, будто молитвы, известные под этим названием, произносились во время казни приспешниками Сушо; из этого заключали, будто убийцы хотели поставить эти убийства под покровительство религии. Ничего подобного не было; это выражение встречается в рассказах о нескольких массовых убийствах той эпохи: мы могли бы указать, в частности, на убийства в Бротто в Лионе. Естественно, что одни и те же выражения употребляются для обозначения одних и тех же вещей. Как республиканцев в Машкуле, так и роялистов в Бротто вели на длинных верёвках к полю, где для них была приготовлена яма, и там тоже ружейный огонь рассыпал эти человеческие чётки.

[28] Законами от 7 и 9 апреля уголовные трибуналы только что были наделены теми же полномочиями, что и парижский Революционный трибунал. По первому требованию департаментских администраций и тем более представителей народа они должны были перемещаться в главные города дистриктов, чтобы судить там, согласно закону от 19 марта, лиц, обвинённых в участии в контрреволюционных мятежах или бунтах. Их приговоры должны были приводиться в исполнение в течение 24 часов и без права обжалования в кассационный трибунал.

[29] Мы пожелали внести свой вклад в многочисленные публикации о войне в Вандее. В конце тома читатель найдёт некоторое число документов, которые мы считаем совершенно неизданными.

КНИГА XXXV. — МАРАТ ОБЪЯВЛЕН ОБВИНЯЕМЫМ.

I. Петиция секции Бон-Консей против Жиронды (8 апреля). — II. Петион разоблачает петицию, подготовленную секцией Хлебного рынка. — III. Робеспьер защищает петицию. — IV. Верньо выступает против нее. — V. Вечернее заседание 11 апреля, скандальная сцена, спровоцированная Маратом. — VI. Петион, оскорбленный Горой. — VII. Гаде требует декрета об обвинении Марата. — VIII. Декрет принят.

I

Обвинительная речь, с которой Робеспьер обрушился 3 апреля на Жиронду[1], имела огромный отклик у якобинцев и в секциях, слепо следовавших их внушениям. Решено было перейти от слов к делу. Секции Моконсей и Хлебного рынка встали во главе движения. Первая, которая по этому случаю приняла название Бонконсей, явилась прямо в Конвент, чтобы изложить свою программу; вторая, напротив, обратилась к сорока семи другим секциям, чтобы отправить своих делегатов к решётке лишь после того, как соберёт большое число присоединившихся.

В заседании 8 апреля оратор Бонконсей выражается так: Мы требуем преследовать во всех его разветвлениях заговор гнусного Дюмурье. Не только в его легионах были у изменника сообщники. Разве народ не имеет оснований полагать, что они были и в вашей среде, разве он не может обвинить тех, кто хотел спасти тирана, тех, кто своими клеветами на город Париж и народные общества хотел вооружить департаменты против этого города? Глас народа указывает вам на Бриссо, на Жансонне... При этом поименном указании Гора и трибуны аплодируют, правая возмущается и громкими криками требует прогнать от решётки дерзких петиционеров.

Монтаньяр Малларме, пробуя себя в роли, которую ему предстоит сыграть 31 мая, бросается на трибуну: Я напоминаю, говорит он, Собранию о принципах. Право петиций есть право священное. Петиционеры должны быть заслушаны. Разве вы, впрочем, не объявили, что члены этого Собрания могут быть объявлены обвинёнными и отправлены перед чрезвычайный трибунал? Я считаю обвиняемых невиновными, но когда граждане имеют мужество говорить вам правду, их нужно выслушать, при условии, что они не будут доносить безнаказанно; вот почему я требую, чтобы, будучи заслушаны до конца, они поодиночке подписали свой донос и чтобы он был передан в Комитет для завтрашнего доклада.

Покорённое подобным рассуждением, большинство забывает, что первейший долг собрания — заставить уважать себя; оно позволяет оратору продолжать свою речь и разворачивать проскрипционный список, составленный несколькими сотнями бунтовщиков.

Глас народа указывает вам на Бриссо, Жансонне, Гаде, Верньо, Барбару, Луве, Бюзо и прочих. Чего вы ждёте, чтобы поразить их декретом об обвинении? Вы ставите Дюмурье вне закона и оставляете его сообщников заседать среди вас! Вам недостаёт доказательств? Клеветы, которые они изрыгали против Парижа, свидетельствуют против них. Они изображали этот город очагом анархии, а между тем сами находятся в безопасности.

Оратор, повернувшись к крайней левой, заканчивает следующей концовкой, достойным завершением этого наглого манифеста:

На вас отечество возлагает заботу указать изменников. Пора сорвать с них неприкосновенность, ставшую свободубийственной. Поднимитесь, выдайте трибуналам людей, которых обвиняет общественное мнение; призовите меч закона на головы этих неприкосновенных, и благодарное отечество, даже когда вас уже не будет, благословит дни, в которые вы жили для его счастья.

Председатель Гарран-Кулон отвечает петиционерам: При господстве свободы и равенства все граждане подчинены закону. Конвент доказал, что признаёт этот принцип; но он знает также, что выражать общую волю надлежит всем. Конвент велит доложить себе о вашей петиции. Он приглашает вас к почестям заседания.

При этих последних словах в Собрании поднимается чудовищный шум. Нет! нет! — кричат справа, — они их не заслуживают. Прогнать от решётки этих наглецов! Но Гора настаивает на том, чтобы право петиционеров было подтверждено. Это нарушение священного принципа, восклицает Марат, вызывает эту скандальную сцену. Почему оспаривать у петиционеров право доносить на дурных граждан? Разве вы отказывались выслушивать тех, кто доносил на меня? Разве вы отказывали в почестях заседания агентам этой клики, которые приходили меня клеветать?

Большинство, всегда желающее доказать свою беспристрастность, не осмеливается отказать Марату в его требовании и предоставляет оспариваемые почести. Едва этот инцидент исчерпан, как тотчас возникает другой.

Обвинение, которое вы только что слышали, говорит один из членов правой, содержит лишь смутные утверждения; но есть одно слово, которое прежде всего необходимо уточнить. Петиционеры сказали вам: «Мы доносим вам на Гаде, Верньо и прочих». Я требую, чтобы они были обязаны немедленно сказать, кого именно они подразумевают под этим «и прочих».

Это предложение тотчас принимается, и председатель предлагает оратору петиционеров ответить на столь категорически поставленный вопрос:

Законодатели, говорит тот, не все имена изменников нам известны. Есть такие, которые писали своим друзьям, чтобы те арестовали ваших комиссаров; есть такие, которые развращали умы в департаментах. Мы знаем преступления, но не знаем их авторов; вот кого мы хотели обозначить словами «и прочие, и прочие».

Собрание не устает затягивать инцидент и переходит к повестке дня. Но ссора не могла разрешиться отказом в рассмотрении; все чувствовали, что нужно идти до конца и заставить Конвент категорически высказаться по поводу взаимных обвинений, которыми обменивались обе партии; Жиронда решила на этот раз сама начать прения.

II

10 апреля Петион получает слово для внеочередного заявления и зачитывает с трибуны адрес, который секция Хлебного рынка распространяла по всему Парижу; это было лишь второе, пересмотренное и исправленное издание петиции Бонконсей[2].

Гора даёт Петиону прочесть адрес целиком и встречает его выводы самыми бурными одобрениями; но, когда чтение закончено, она хочет помешать оратору добавить свои комментарии. Его прерывают на каждом слове; громкими криками требуют выслушать Камбона, которому надлежит представить доклад от имени Комитета общественного спасения. Петион энергично отстаивает своё право и заявляет, что, раз он находится на трибуне, он никому не уступит места. Дантон яростно его обрывает и бросается со своей скамьи; самые решительные жирондисты устремляются, чтобы преградить ему путь. Тогда трибун поворачивается к своим противникам и, показывая им кулак: Вы всего лишь негодяи, восклицает он, я требую, чтобы вы сопровождали адрес, только что прочитанный Петионом, почётным отзывом. Это предложение вызывает неопишемый шум. Председатель Дельмас покрывает голову, и, когда молчание немного восстановлено, он выражается так:

Именно водворяя спокойствие в ваших совещаниях, вы спасёте отечество. Подобное зрелище, если оно повторится, заставит слышащих нас граждан отчаяться в спасении государства. Если Дантон хочет отвечать Петиону, добавляет он, он получит слово после него. Я напоминаю представителям народа об их клятве и их достоинстве; я приглашаю граждан на трибунах к уважению и молчанию. Петион, слово ваше.

Бывший мэр Парижа продолжает:

Я не наношу гражданам секции Хлебного рынка оскорбления, полагая, что столь поджигательская петиция, петиция, столь явно направленная к роспуску Национального собрания, есть их произведение. Достаточно известно, как добиваются в секциях этих адресов, с помощью которых подводят к грабежам и гибели Республики. Как, граждане, хорошо ли вы слышали? Они говорят вам, что выражают волю всей Франции, они говорят вам, что здесь есть заговорщики, скупщики; они говорят вам, что большинство Конвента продажно; они обращаются к меньшинству, спрашивают его, может ли оно спасти отечество, и заявляют, что, если оно этого не сделает, они сами берутся его спасти! Разве мы были посланы сюда, чтобы нас поили оскорблениями, и разве не были бы мы виновны, если бы не покарали подобных негодяев! Как они намерены спасти отечество? Посредством разбоев и убийств?..

Здесь оратора яростно прерывают крики Горы; но бывший мэр Парижа, более чем когда-либо упоенный собственной особой, всё ещё считает себя тем Петионом, которого несли с триумфом в тот момент, когда несчастный Людовик XVI подвергался последним оскорблениям, и, нимало не смущаясь, продолжает так:

Общественное мнение развращают клеветами; надеются, что публика примет вопли за доказательства. Но кто в этом собрании мог бы заподозрить меня?

— Я! я! — восклицают, вставая, некоторые из членов, сидящих на вершине Горы.

— Нас хотят унижить, нас хотят разделить. Слишком долго преступная снисходительность поощряет безнаказанностью негодяев к новым преступлениям. Вы распорядились преследовать виновников февральских грабежей и заговорщиков 10 марта. Ведутся ли эти преследования? В вашей среде есть человек, который проповедовал вам деспотизм во всех видах, который требовал у вас голов, который советовал грабежи. И что же, он продолжает заседать среди вас и получает слово легче, чем человек, известный своей честностью и своими нравами. (Иронический ропот слева.)

Вспомните, что происходило в начале легислатуры: едва ли кто-нибудь из членов хотел садиться рядом с ним; сегодня он один имеет право доносить, клеветать.

— Он донёс на Дюмуре, — отвечает Гора.

— Неужели вы хотите, — продолжает Петион, — чтобы человек, питающийся одной лишь желчью, доносящий на всех, не попадал иногда в цель?

Оратор заключает требованием, чтобы председатель и секретари секции Хлебного рынка были вызваны к решётке и чтобы, если они признают, что подписали проект адреса, их немедленно отправили в Революционный трибунал.

Тогда поднимается Дантон и говорит:

Почему вы требуете от народа или от части народа больше благоразумия, чем есть у вас самих? Разве народ не имеет права испытывать волнения, доводящие его до патриотического исступления, когда эта трибуна, кажется, непрерывно служит ареной гладиаторов? Каждый день приходят петиции более или менее преувеличенные: о них нужно судить по существу. Я взываю к самому Петиону; не со вчерашнего дня он находится среди народных бурь. Он хорошо знает, что, когда народ сокрушает монархию, чтобы прийти к Республике, он перелетает через цель силой броска, который сам себе придал. Что должен делать законодатель? Оставаться неподвижным и не волноваться от криков, раздающихся вокруг него. Вам говорят, что большинство членов Конвента продажно. Как должны вы отвечать на эту клевету? Спасая отечество. С каких пор вам обязаны похвалами? Что вы уже сделали? Разве вы в конце своей миссии? Вам ли пристало восставать против народа, когда он говорит вам энергичные истины! Я говорю, что прения, поднятые Петионом, ничтожны. Я требую, чтобы вы перешли к предварительному вопросу; я требую, чтобы вы выслушали доклад Комитета общественного спасения.

Слово предоставляется Камбону; но предмет, о котором он говорит Собранию, не связан с вопросом: он сообщает, что морской министр Монж только что сложил с себя обязанности

и что Комитет предлагает заменить его Дальбарадом, одним из его помощников. Этот выбор одобряется без прений, и обсуждение петиции Хлебного рынка возобновляется. Фонфред поднимается на трибуну, чтобы ответить Дантону.

III

Когда готовят, говорит оратор, дерзкую петицию, которая, кажется, желает опереться лишь на меньшинство этого собрания, я имею право обратиться к большинству и отомстить нации за оскорбления, которые осмелились нанести здесь её представителям. Как и предыдущий оратор, я не нанесу народу оскорбления, предположив или хотя бы сказав, что этот адрес есть его произведение; он подписан несколькими лицами, а я не привык принимать нескольких лиц за народ. Большинство этого собрания обвиняют в продажности! Кто его обвиняет? Дюмурье, который хочет его распустить; роялисты, которые требуют у вас обратно тирана, чью голову вы сняли; все дворяне, все священники, все тёмные тираны, проливающие кровь, чтобы добыть золото, и слишком подлые, чтобы даже стремиться к власти, если только власть не ведёт к богатству.

И что же! — отвечу я подписавшим этот адрес, — вы требуете, чтобы нация поднялась на защиту Республики, и обвиняете в продажности большинство её представителей! Вы, значит, не хотите, чтобы враги были отброшены? Вы требуете, чтобы мы дали Франции конституцию, и обвиняете в продажности большинство, которое должно её создать! Вы, значит, не хотите конституции? Значит, вы сами, дерзкие петиционеры, — агенты наших врагов, ибо вы говорите и действуете, как они.

За Фонфредом следует другой оратор той же партии; из всех он обладает наибольшим красноречием, но и наибольшей желчностью:

Пытаются, говорит Гаде, окружить вас искусственным мнением, чтобы скрыть от вас знание мнения истинного. Это искусственное мнение подобно кваканью нескольких жаб.

— Замолчи, мерзкая птица! — отвечает пронзительный голос Марата.

— Да, — продолжает Гаде, — это искусственное мнение подобно кваканью жаб, которое, по сообщению не знаю уж какого путешественника, некоторые дикари называют выражением воли своих богов. Нужно просветить это мнение, не поспешными производствами, которые могли бы привести к оправданию виновных, но терпеливым разысканием доказательств, которые позволят трибуналам проследить нити заговоров. И по этому поводу я требую, чтобы общественный обвинитель явился сюда отчитаться в своём поведении и объяснить нам, почему он не привёл трибунал в состояние судить авторов и главарей заговора 10 марта, вопреки декрету, в силу которого преследование зачинщиков этого заговора должно было занять первые заседания этого трибунала[3]. Не сомневайтесь, граждане, Республика погибла, если вы продолжите снисходительность, с которой до сих пор относились к тем, кто скрытно, да что я говорю! — открыто провоцирует роспуск Национального конвента. Разве вы не чувствуете, что деспоты продвигаются среди беспорядка и анархии? Разве вы не чувствуете, что короля делают необходимым для народа те, кто беспрестанно провоцирует уничтожение национального представительства?

Робеспьер несколько раз просил слова, пока жирондистские ораторы занимали трибуну. С того дня, как стараниями его приверженцев секции начали волноваться, он готовил в тиши кабинета настоящий обвинительный акт против своих противников; час наконец настал.

Он начинает свою обвинительную речь с упреков жирондистам в том, что они шли на сделки с Лафайетом и Дюмурье, клеветали на Париж, хотели его покинуть в момент прусского вторжения, вступали в сговор с двором, стремились спасти короля и королевскую власть; наконец, в том, что они не более как умеренные и фельяны.

Правая то и дело прерывает его выкриками, центр — ропотом. Требуют, чтобы, прежде чем выслушивать новые доносы, Конвент высказался по петиции Хлебного рынка; но якобинский оратор завладел трибуной: при поддержке зрителей и Горы он навязывает себя противни-

кам. Предложения, внесённые на рассмотрение собрания, говорит он, не могут быть отделены от предмета, который мне надлежит разобрать. Когда хотят познать заговор, нужно охватить совокупность событий, цель и средства заговорщиков. Уже некоторое время я занимаюсь этим предметом и, не произнося общих мест о свободе, медленно ищу причины, которые её компрометируют.

— Что ж, — восклицает Верньо, — пусть выслушают Робеспьера, но я требую, чтобы те, кого он обвинит, немедленно получили слово после него; хотя у них и нет искусно заготовленной речи, они сумеют его опровергнуть. И тотчас депутат из Бордо поднимается к столу секретарей, чтобы набросать на бумаге заметки, которые должны позволить ему тут же, в заседании, опровергнуть речь парижского депутата.

Робеспьер продолжает течение своих вероломных доводов, своих коварных сопоставлений, своих напыщенных декламаций.

Да, говорит он, могущественная фракция состоит в заговоре с тиранами Европы, чтобы дать нам короля с неким подобием аристократической конституции и призрачным представительством из двух палат. Она надеется привести нас к этой позорной сделке силой иностранных армий и внутренними смутами. Такая система угодна английскому правительству, Питту, душе всей этой лиги, душе всех этих заговоров. Она угодна всем буржуазным аристократам, которые питают ужас к равенству и боятся за свою собственность; она угодна даже дворянам, слишком счастливым вновь обрести в аристократическом представительстве и при дворе нового короля те горделивые отличия, которые от них ускользали. Республика угодна лишь народу, людям всех состояний с чистой и возвышенной душой, философам, друзьям человечества, санкюлотам, которые во Франции с гордостью украсились этим званием, которым Лафайет и прежний двор хотели их заклеить, подобно тому как возвышенные республиканцы Голландии приняли имя гёзов, данное им герцогом Альбой.

Аристократическая система, о которой я говорю, была системой Лафайета, фельянов, умеренных; её продолжили те, кто им наследовал. Некоторые лица сменились, но цель осталась прежней; средства те же, с той разницей, что продолжатели умножили свои ресурсы и увеличили число своих сторонников. Все честолюбцы, появившиеся до сих пор на сцене Революции, имели то общее, что защищали права народа, льстили ему, пока считали, что нуждаются в нём. Все смотрели на него как на глупое стадо, предназначенное быть ведомым самым ловким или самым сильным. Все смотрели на законодательные собрания как на собрания людей алчных или легковёрных, которых нужно было подкупать или обманывать, чтобы заставить служить своим преступным замыслам.

По примеру своих предшественников, они пользовались народными обществами против двора; но, как только заключили с ним сделку или заняли его место, они стали трудиться над разрушением этих обществ; они называли друзей отечества агитаторами, анархистами. Как и их предшественники, они рано начали пугать граждан призраком аграрного закона; они отделили интересы богатых от интересов бедных; они представили себя первым как их защитников от санкюлотов. Враги равенства, хозяева правительства и всех должностей, господствующие в трибуналах и административных органах, распоряжающиеся государственной казной, они употребили всю свою власть, чтобы остановить развитие общественного духа, пробудить роялизм, воскресить аристократию. Они угнетали энергичных патриотов, покровительствовали лицемерным умеренным; они последовательно развращали защитников народа и преследовали тех, кого не могли соблазнить. Как могла родиться Республика, когда вся общественная власть истощала себя, чтобы губить добродетель, вознаграждать негражданственность и вероломство?

Они приписали себе всю честь революции 10 августа; они собрали все её плоды. Первой их заботой было вернуть в министерство своих ставленников: Сервана, Клавьера, Ролана. Они позаботились о передаче в руки этих министров огромных сумм, чтобы по своему произволу обрабатывать общественное мнение. Они не переставали обманывать Францию и Европу

на счёт революции, породившей Республику; они каждый день доносили на народ Парижа и на всех энергичных граждан, которые наиболее мощно ей содействовали. Нужно было разрушить этот обширный очаг республиканизма и общественного просвещения. Все они согласились изображать этот бессмертный город как обиталище преступления и театр резни, выдавать за убийц и разбойников граждан и представителей, чьей энергии они боялись. Они стремились вооружить против столицы недоверие и зависть департаментов. Они не осмелились воспротивиться провозглашению Республики, но приложили все силы, чтобы задушить её в колыбели. Они владели важнейшими комитетами Законодательного собрания; при открытии Конвента они добились их временного сохранения. Вскоре они составили новые по своему произволу; они захватили бюро, председательское кресло и даже трибуну; в их руках были министерство и судьба нации. Они беспрестанно занимали Конвент доносами на парижский муниципалитет, на большинство парижских депутатов; они выдумали, они повторяли эту нелепую басню о диктатуре, которую приписывали этим гражданам, лишённым как власти, так и честолюбия, чтобы заставить забыть олигархию, которую они сами осуществляли, и проект новой тирании, которую они хотели воскресить. Отсюда эти вечные декламации против событий 2 сентября, против революционного правосудия, принёсшего в жертву Монморенов, Делессаров и прочих заговорщиков в тот момент, когда народ и федераты поднимались, чтобы отбросить пруссаков. С этого момента они не переставали наполнять души депутатов недоверием, завистью, ненавистью и страхом, заставляя звучать в святилище свободы вопли самых низких предрассудков и рычание самых яростных страстей. С тех пор они не переставали раздувать огонь гражданской войны и в Конvente, и в департаментах — своими газетами, своими речами, своей перепиской.

Робеспьер долго продолжает в том же тоне, выставляя себя человеком скромным и лишённым власти, изображая своих противников врагами общественного блага, бесстыдными заговорщиками, которые подают руку генералам-изменникам отечества, благоприятствуют смутам в Вандее и повсюду сеют раздор и анархию. Он заканчивает концовкой, в которой переливается вся желчь, переполняющая его сердце:

Всякому добросовестному человеку должно быть доказано, что если у Дюмуре есть сообщники, то это те, кого я назвал; что если существует фракция, то это та, на которую я указал. Если бы в моей власти было принять меры, которые одни могут дать неверующим единственный род доказательств, способный их убедить, — доказательства письменные, исходящие от самих виновных, если бы я по своему произволу составил дипломатический комитет и Комитет общей обороны, если бы я распоряжался министерством, я принёс бы вам эти письменные доказательства, к которым не осмелились прикоснуться. Я показал бы целиком вашему взору это хранилище, скрытое в логове Тюильри; я не дал бы виновным времени скрыться и укрыть бумаги, которые могли их скомпрометировать[4]. Но когда речь идёт о политическом заговоре, связанном с событиями, разве нет других доказательств, которые могут быть достаточными? Например, общеизвестные факты? Эти-то доказательства я и приношу, и если они не достаточны для того или иного лица, они достаточны по крайней мере для общественного мнения, для нации, которая, как история, судит без пристрастия.

Я требую, чтобы лица из Орлеанской семьи, именуемой Эгалите, были отправлены перед Революционный трибунал, а также Сийери, его жена, Валанс и все люди, особо привязанные к этому дому; чтобы трибуналу было также поручено вести дело всех прочих сообщников Дюмуре, не исключая даже господ Бриссо, Верньо, Жансонне, Гаде.

Я возобновляю в настоящий момент предложение, которое уже делал относительно Марии-Антуанетты Австрийской. Я требую, чтобы Национальный конвент затем безостановочно занялся столь часто возмущавшимися средствами спасти отечество и облегчить нищету народа.

Я не смею сказать, что вы должны поразить тем же декретом столь выдающихся патриотов, как господ Верньо, Гаде и прочие; я не смею сказать, что человек, который переписыв-

вался день за днём с Дюмурье, должен быть по меньшей мере заподозрен в соучастии; ибо, конечно же, этот человек — образец патриотизма, и было бы своего рода святотатством требовать декрета об обвинении против господина Жансонне. Впрочем, я убеждён в бессилии моих усилий в этом отношении и полагаюсь во всём, что касается этих прославленных членов, на мудрость Конвента.

IV

Едва Робеспьер покидает трибуну, как Верньо занимает его место; восторженные аплодисменты, которые зрители только что расточали парижскому депутату, сменяются ропотом и воплями. Приспешники великого жреца демагогии не могут допустить, чтобы жирондистский оратор вернул своему обвинителю обращение «господин», которое, по их мнению, должно обозначать лишь аристократов и умеренных.

— Я осмелюсь отвечать господину Робеспьеру, — вынужден он повторить несколько раз, прежде чем добивается тишины; — я осмелюсь, говорю я, отвечать господину Робеспьеру, который вероломным романом, искусно написанным в тиши кабинета, и холодными ирониями пришёл провоцировать новые раздоры в лоне Конвента и попытаться заставить вас упустить из виду петицию, обличенную Петионом. Я буду отвечать без подготовки, мне, в отличие от него, не нужно искусства; я отвечу ему не за себя, а за моё отечество; и мой голос, который с этой трибуны не раз наводил ужас на тот дворец, откуда он помог низвергнуть тирана, пронесёт ужас и в души негодяев, которые хотели бы подменить тиранию королевской власти своей собственной.

Я буду говорить с энергией свободного человека, но без страстей. Я поостерегусь содействовать замыслу вероломных, которые, чтобы облегчить торжество держав, объединившихся против Франции, беспрестанно бросают среди нас семена раздора и силятся заставить нас перерезать друг друга, как воинов Кадма, чтобы отдать беззащитное отечество деспоту, которого они имеют дерзость желать нам навязать.

После этого вступления жирондистский оратор опровергает все ретроспективные обвинения Робеспьера. Это он, Верньо, первым в речи, произнесённой 3 июля с этой самой трибуны, потребовал низложения Людовика XVI[5]; это он и его друзья постоянно стояли на страже, подрывая основы королевской власти; 10 августа, когда те, кто обвиняет их сегодня, позорно прятались, именно он и его друзья добивались принятия Законодательным собранием мер, которые должны были обеспечить торжество свободы.

Господин Робеспьер, добавляет Верньо, обвиняет нас в том, что после 10 августа мы клеветали на Генеральный совет революционной Коммуны Парижа, который, по его словам, спас Республику; мой ответ будет прост.

Во время управления этого Генерального совета были совершены огромные растраты национальных имуществ, обстановки эмигрантов, имущества, найденного в бывших королевских домах, вещей, сданных в Коммуну. Чтобы положить конец этим растратам, я потребовал, чтобы этот Совет был обязан представить свои отчёты. Это требование было справедливым: декрет повелел, чтобы отчёты были представлены. Значило ли это клеветать на Генеральный совет Коммуны? Не значило ли это скорее дать ему случай доказать, с каким усердием он управлял общественным достоянием? Однако именно с этого времени преимущественно начали отнимать у меня мою популярность. Все люди, боявшиеся, что их грабежи будут раскрыты, принялись клеветать на меня. Я вскоре стал дурным гражданином за то, что не захотел быть сообщником плутов.

Господин Робеспьер обвиняет нас в клевете на Париж: этот упрёк гораздо справедливее обратить против него самого и его друзей. Я постоянно утверждал, что убийства, которые вскоре после 10 августа запятнали Революцию, были делом не народа, а нескольких негодяев, сбежавшихся со всех концов Республики, чтобы жить грабежом и убийством в городе, чья громадность и непрестанные волнения открывали широчайший простор их преступным надеж-

дам. Ради самой славы народа я требовал, чтобы они были преданы мечу законов. Другие, напротив, чтобы обеспечить безнаказанность разбойников, чтобы подготовить им, без сомнения, новые убийства и новые грабежи, восхваляли совершённые преступления и приписывали их все народу; итак, кто клеветает на народ: тот ли, кто считает его невиновным в преступлениях нескольких чужеземных разбойников, или тот, кто упорно приписывает всему народу позор этих кровавых сцен?

— Это национальные мщения! — восклицает Марат.

Великий оратор не устаивает вниманием хриплый крик этой гиены и переходит к рассмотрению собственного поведения и поведения своих друзей в Комитете общей обороны:

Господин Робеспьер обвиняет нас в том, что мы не пожелали принять меры, способные спасти отечество. Вспомните, граждане, что вы составили этот Комитет из людей, которых вы считали наиболее разделёнными взаимной ненавистью. Вы надеялись, что, пожертвовав своими страстями общественному делу, они согласятся понять друг друга, что разум и общая опасность вскоре приведут их к согласию и что отсюда последует больше спокойствия в прениях Собрания и больше быстроты в решениях. Спеша поддержать ваши намерения, мы честно и добросовестно являлись в этот Комитет. Робеспьер и его друзья почти никогда там не появлялись; но если они не исполняли задачи, которую вы на них возложили, они исполняли другую, весьма милую их сердцу: они нас клеветали. Они не ходили в Комитет, говорит нам господин Робеспьер, из-за влияния, которое мы там имели! Значит, они весьма трусливы, если не осмеливались попытаться с ним бороться! Я должен сказать, как был парализован этот Комитет, как его принудили распуститься. На его заседания обычно собирались пятьдесят, сто, иногда две-сти членов Конвента. Это был уже не комитет, а клуб, где невозможно было работать, потому что все говорили разом и члены Комитета часто с наибольшим трудом добивались слова. Что происходило, если, преодолев это первое препятствие, Комитет всё же выносил какой-нибудь важный предмет на обсуждение? Тогда кто-нибудь из присутствующих быстро шёл в Конвент и предлагал декрет, который обсуждался в Комитете, так что, когда Комитет заканчивал свою работу, он узнавал, что Конвент его опередил. Таким образом доставляли себе удовольствие обвинять Комитет в бездействии.

На этот столь правдивый рассказ о совсем недавних фактах Гора отвечает энергичными отрицаниями. — Не хотели идти в комитет, где были заговорщики, — восклицает один из депутатов левой. — Верньо поднимает глаза и узнаёт в прервавшем одного из двух администраторов парижской полиции, посланных в Конвент в награду за их сентябрьские злодеяния.

— Я отвечу, — говорит он, — Пани, что, прежде чем иметь право меня прерывать, он должен представить свои отчёты.

Не обращая больше внимания на крики ярости, которые издаёт казнокрад, только что одним словом пригвождённый им к позорному столбу, Верньо продолжает:

Господин Робеспьер обвиняет нас в том, что мы вдруг сделались умеренными, фельянами. Мы — умеренные! Я не был таковым 10 августа, Робеспьер, когда ты прятался в своём погребе. Умеренные! Нет, я не таков в том смысле, будто хочу погасить национальную энергию. Я знаю, что свобода всегда деятельна, как пламя; что в революционные времена было бы таким же безумием пытаться успокоить народное брожение, как приказывать морским волнам быть спокойными, когда их бьют ветры. Но законодателю надлежит предотвращать, насколько он может, бедствия бури своими мудрыми советами. Если под предлогом революции, чтобы быть патриотом, нужно объявить себя покровителем убийства и разбоя, — я умеренный.

Если, когда статуя свободы воздвигнута на обломках трона, чтобы быть патриотом, нужно одобрять мятежные движения, имеющие единственной целью её низвергнуть, — я умеренный.

Если за то, что мы не считали, что, подобно свирепым служителям инквизиции, которые говорят о своём боге милосердия лишь среди костров, мы должны говорить о свободе среди кинжалов и палачей, нас нужно называть умеренными, — мы умеренные.

Мы — умеренные! Ах! Пусть нам воздадут благодарность за эту умеренность, которую нам ставят в вину. Если бы, когда с этой трибуны пришли потрясать факелами раздора и с самой наглой дерзостью оскорблять большинство представителей народа; если бы, когда воскликнули с такой же яростью, как и бесстыдством: «Ни мира, ни перемирия между нами!»[6] — мы уступили бы движениям самого справедливого негодования, если бы мы приняли контр-революционный вызов, который нам бросали, тогда со всех департаментов устремились бы, чтобы сразиться с людьми 2 сентября, люди, равно грозные и для анархии, и для тиранов. Наши обвинители и мы были бы уже истреблены огнём гражданской войны. Наша умеренность спасла Республику от этого страшного бедствия, и нашим молчанием мы заслужили признательность отечества.

Каждый день возникает новый заговор: заговор 10 марта, затем заговор центрального комитета, который должен был переписываться со всеми департаментами. Каждый день возвещают о твёрдом намерении распустить национальное представительство, оскорбляют ваши декреты. Вас постыдно швыряют от заговора к заговору. Петион только что раскрыл перед вами новый. В этой петиции Хлебного рынка вас предупреждают, что вам в последний раз говорят правду; вас предупреждают, что вам остаётся лишь выбирать между вашим изгнанием и приказами, которые вам дают. На эти наглые угрозы, на эти кровавые оскорбления вам спокойно предлагают повестку дня или даже одобрение. Как вы хотите, чтобы добрые граждане вас поддерживали, если вы не умеете поддержать самих себя? Если бы речь шла лишь о вашем личном спасении, я сказал бы вам: вы трусы? ну что ж, отдайтесь на волю случая; ждите с тупой покорностью, пока вас зарежут или выгонят. Но вы представители народа; речь идёт о спасении Республики. Если не станет Конвента, не станет и Республики. Вам наследует анархия, а анархии наследует деспотизм. Вы сами это почувствовали, когда объявили смертную казнь тем, кто стал бы провоцировать роспуск этого Собрания. Отмените ваш декрет или объявите, что вы самые подлые из людей и будете рабами первого разбойника, который пожелает вас заковать.

Верньо спускается с трибуны под аплодисменты большинства. Гаде хочет в свою очередь ответить на обвинения Робеспьера, но уже восемь часов вечера, а заседание длится с десяти часов утра. Собрание откладывает продолжение прений на завтра.

V

На следующий день, в четверг 11 апреля, текущие дела, чтение депеш министров, генералов и представителей в миссиях поглощают весь день; приходится перенести на вечер обсуждение противоречащих друг другу предложений Петиона и Робеспьера. На эти вечерние заседания депутаты приходили возбуждённые утренними прениями, утомлённые дневными трудами, разгорячённые трапезой, с которой едва встали. Из-за полумрака, царившего в зале, надзор за трибунами был гораздо труднее. Пьяные люди, заполнявшие их, свободнее вмешивались в обсуждение и оскорбляли представителей с большей безнаказанностью, чем обычно. Поэтому эти заседания всегда были очень бурными, но никогда беспорядок не доходил до такой степени, как в этот раз.

При возобновлении заседания правая требует для Гаде слова, обещанного ему накануне; но Марат уже завладел трибуной и, не считаясь с предупреждениями председателя Тюрио, предаётся своим обычным бредням. Правая сначала проявляет терпение, но вскоре приходит в волнение и бросает самые яростные выпады Горе. Та отвечает с привычной резкостью. До чего доходят угрозы с обеих сторон? Никто не может сказать. Внезапно несколько членов правой бросаются к противоположным скамьям; во главе их Дюперре, размахивающий тростью со стилетом.

— Против нас обнажают шпагу! — кричат друзья Марата; — председатель, отправьте убийцу в Аббатство.

Но Тюрио прежде всего старается унять шум, делая вид, что не замечает насильственного действия, о котором ему сообщают; монтаньяры, взбешённые тем, что один из них выказывает такое равнодушие в момент, когда право и разум на их стороне, обрушивают на него поток брани:

ОДУЭН. — Председатель, исполняйте ваш долг; призовите убийцу к порядку.

ПАНИ. — Председатель, это вас самого прежде всего следует призвать к порядку.

ДАВИД. — Председатель, отправьте же в Аббатство негодяя, который обнажил шпагу.

МАРАТ. — Председатель, я требую слова против вас. Я вношу предложение по порядку ведения.

ФЕРО. — И я тоже вношу: пусть больше не будет вечерних заседаний.

МАРАТ. — Я требую отмщения! Я требую правосудия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. — Марат, вы не имеете слова.

МАРАТ. — Я его требую у вас.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. — Я не желаю вам его предоставлять.

МАРАТ. — Вы мне его дадите; я его возьму.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. — Марат, я в двадцатый раз призываю вас к порядку.

Друг народа наконец решается уступить трибуну Дюперре, который просит объяснить своё поведение. Этот депутат был земледельцем из окрестностей Апта; грубая и прямая натура, неукротимое мужество, безграничная преданность друзьям, непримиримая ненависть к демагогам — таковы были отличительные черты этого лица, которое ещё не раз появится в ходе этой истории.

— Я прошу, — говорит он, — Конвент и трибуны...

— Вы унижаете национальное представительство! — кричат ему справа.

— Да, я прошу трибуны оказать мне милость выслушать меня, потому что уже давно здесь ни один член не может говорить, не получив на то позволения трибун. Граждане, вот уже девятнадцать месяцев, как в Законодательном собрании я начал борьбу с двором и фельянами; с открытия Конвента я борюсь с ордой негодяев, которые трудятся над гибелью общественного дела. Вот уже два часа, как член, не имевший слова, занимает трибуну; вот уже два часа, как эта сторона — и он указывает пальцем на левую — обращает к председателю самые яростные выкрики; я бросился вперёд с несколькими друзьями, чтобы поддержать закон; я оказался лицом к лицу с членом, у которого в руке был пистолет; я увидел себя под угрозой, и в минуту иступления я выхватил шпагу. Но если бы я имел несчастье поднять руку на представителя народа, у меня оставалось ещё одно оружие — я пустил бы себе пулю в лоб. Вот что я должен был вам сказать.

Предлагают перейти к повестке дня по этому инциденту; несмотря на вопли трибун, она принимается.

— Это отказ в правосудии! — восклицает Гора, — Дюперре — убийца и клеветник.

Робер, Фабр д'Эглантин, Робеспьер-младший требуют, чтобы Дюперре назвал члена, угрожавшего ему пистолетом. Шум возобновляется в зале и на трибунах. Тюрио, выбившись из сил, восклицает: Заявляю, что не могу выдержать такой тирании! И покидает кресло.

Дельмас, титулярный председатель, сменяет его и вновь ставит на голосование повестку дня. Она принимается во второй раз; заседание закрывается в полночь.

Что за прения и что за сцены! Конвент — поистине та арена гладиаторов, о которой говорил Дантон; при каждом движении, волнующем Собрание, чувствуется, как все сердца бьются ненавистью и гневом; угадываешь под одеждой оружие, которое каждый носит при себе и которое может в любой миг обратить против противников или против самого себя.

Это была смертельная борьба, которая не могла долго длиться. Все это чувствовали. Кто станет победителем? У жирондистов было право; у монтаньяров — сила. Но что может право против силы? Ничего, кроме как протестовать и умереть.

VI

В пятницу 12 апреля сцена почти столь же скандальная, хотя и менее бурная, послужила прелюдией к возобновлению прений. Член военного комитета Пультье объявил, что ему поручено зачитать допрос генералов Стенгеля и Лану; но он предпослал этому чтению следующие соображения:

— Удалённый от места, где совершилась измена, оторванный от свидетелей, которые могли бы дать ему сведения, мало знакомый с местными условиями, не имея никаких копий приказов, ваш комитет оказался словно в неведомой стране, а обвиняемые, напротив, воспользовавшись нашим положением, стали хозяевами поля боя. Сколь бы виновны они ни были в нашей совести, они вышли из наших рук невинными, и мы, судя по их ответам, едва ли не готовы вынести им благодарность. Именно солдат вы должны спрашивать о поведении генералов; именно они пострадали от их трусости или от их сговора с врагом, именно они могут просветить вас в этом лабиринте ужасов и измен. Обвиняемые генералы и их сообщники всегда вас обманут; но солдаты, которые суть подлинный народ армий, никогда вас не обманут; они предтечи потомства. Никогда история не отменяла их суждений; напротив, она собирала их бесхитростные свидетельства, чтобы изобразить Тюреннов и Катина. Поэтому я требую, чтобы ваши комиссары при Северной армии произвели строгое расследование поведения обвиняемых генералов, чтобы они собрали все документы, чтобы они прошли по казармам, выслушали всех свидетелей и дали нам возможность отправить виновных в Революционный трибунал, который учинит скорый и добрый суд над виновниками наших бедствий. Военный комитет исчерпал все средства узнать истину; но эти средства ничтожны, а впрочем, вы знаете, как и я, что в комитетах находят пагубную склонность к снисходительности, из-за которой Республика оказалась на волосок от гибели.

По мере того как Пультье произносил свою речь, все с удивлением переглядывались; никто не мог понять, как это комитет явился на трибуну с горькой критикой своих собственных решений. Но всё разъясняется, когда Лекуантр, прервав оратора, разоблачает обман. Пультье выдал за исходящие от комитета соображения, которые принадлежали ему самому: коллеги поручили ему попросту, в отсутствие настоящего докладчика, зачитать допрос двух генералов.

Петион требует порицания депутату, который столь странно злоупотребил своим поручением.

— А я, — отвечает Робеспьер, — предлагаю порицание тем, кто покровительствует изменникам.

ПЕТИОН. — Я первый требую, чтобы изменники и заговорщики были наказаны!

РОБЕСПЬЕР. — И их сообщники!

ПЕТИОН. — Да, и их сообщники, и вы сами. Пора наконец, чтобы все эти гнусности кончились; пора, чтобы изменники и клеветники сложили свои головы на эшафоте. Я беру здесь на себя обязательство преследовать их до смерти.

РОБЕСПЬЕР. — Отвечай на факты.

ПЕТИОН. — Тебя-то я и буду преследовать.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЮРИО. — Я занял кресло лишь потому, что в Собрании царило спокойствие. Вчера я председательствовал восемь часов; если спокойствие не восстановится, прошу Конвент заменить меня.

ПЕТИОН. — Требуйте от Конвента соблюдать спокойствие и достоинство, которых требуют обстоятельства, и вы не будете так изнурены усталостью, как сейчас. Невозможно долее терпеть все эти гнусности. Честному человеку невозможно сдержать негодование, когда он видит, как его нагло оскорбляют существа, заклеянные печатью отвержения. Да, я кля-

нусь преследовать изменников! Да, нужно будет наконец заклеить Робеспьера раскалённым железом, предназначенным для клеветников. Что означают эти вечные доносы на людей, которые всегда дышали одной лишь свободой? Нужно наконец, чтобы народ узнал тех, кто под маской ложного патриотизма обманывает его, сбивает с пути и толкает в пропасть. Я успокоюсь лишь тогда, когда увижу, как эти люди, которые хотят погубить Республику и, если бы их слушали, погубили бы её, сложат свои головы на эшафоте. Мы не должны терпеть, чтобы нам беспрестанно угрожали кинжалом убийц...

При этих словах гроза, грохотавшая на вершинах Горы с того момента, как Петион поднялся на трибуну, разражается самыми яростными выкриками.

— Ты не всегда говорил таким языком.

— Замолчи, диктатор 10 августа!

Марат жестикулирует и вопит; Давид бросается в середину полукруга и, обнажив грудь, восклицает: — Я требую, чтобы вы меня убили!

Петион не устаивает ответом этого маньяка, который оставил свои кисти, чтобы молоть красное, по его собственному выражению[7]. Он возвращается к Пультье, против которого требует порицания за то, что тот выдал свои собственные замечания за замечания военного комитета. Это всё те же фальсификаторы, те же клеветники; это всё те же бывшие дворяне, те же бывшие священники...

— Скажите уж сразу: бывшие монахи, — отвечает Пультье, — я им был, но вот уже восемнадцать месяцев как я на границе.

— Это всё те же люди, которые притязают на монополию патриотизма, а мы, патриоты 89-го и 91-го, мы, которые были под кинжалами на другой день после дела на Марсовом поле, низведены в разряд умеренных; нас обзывают роялистами и изменниками.

Эти последние слова возвращали прения к петиции Хлебного рынка и к доносу Робеспьера. Собрание выслушивает извинения, которые Пультье бормочет с трибуны, чтобы смягчить обман, в котором он был уличен; оно отправляет Стенгеля и Лану в Революционный трибунал и предоставляет слово Гаде[8].

VII

Земляк Верньо одно за другим разбирает обвинения, которым он и его друзья подверглись, и опровергает их сильной и неотразимой логикой. Но Гаде по темпераменту был гораздо более воинствен, чем великий жирондистский оратор; поэтому, долго защищаясь, он переносит затем атаку на вражескую территорию. Он нападает на Дантона и Марата. Первому он ставит в упрёк его близкие связи с Дюмуре: Когда, говорит он, этот генерал приехал в Париж после своей аргоннской кампании, я видел его несколько раз в Комитете и один-единственный раз в чужом доме, у Тальма. Я пробыл там лишь полчаса; меня уже не было, когда Марат и его приспешники явились подвергнуть его допросу, о котором столько говорили[9]. Кто тогда составлял его свиту, кто сопровождал его в театрах? Сантер, Фабр д'Эглантин и ваш Дантон.

— А! ты обвиняешь меня! — восклицает последний, — ты не знаешь моей силы.

По рёву, который издал Дантон, Гаде понимает, что поразил его в самую грудь; тогда он обращается против другого своего противника, Марата; свалив льва, он хочет раздавить гадину. Чтобы нанести ему последний удар и внушить Собранию тот ужас, который вызывает в нём ядовитый газетчик, он читает адрес, исходящий из клуба якобинцев, подписанный Другом народа и начинающийся так:

Друзья, мы преданы; к оружию, к оружию! Вот Дюмуре идёт на Париж, чтобы подать руку преступной фракции, которая обожествляла этого гнусного человека! Но это не самая большая опасность. Контрреволюция — в правительстве, в Национальном конвенте. Именно там преступные делегаты держат нити заговора, сплетённого с ордой деспотов. Вперёд, республиканцы, вооружимся!..

Огромное большинство Собрания не желает слушать дальше и встаёт в негодовании; Гора остаётся неподвижной; один Марат стоит; он обводит все части зала своим наглым взглядом, скрещивает руки и говорит: Это правда.

Услышав, как чудовище признаёт и подтверждает этот призыв к мятежу, все, кто в Конвенте не записан под знамёна самой неистовой демагогии, отвечают криками ярости: Марата в Аббатство! — Декрет об обвинении Марата!

Но тот бросается на трибуну; его появление встречают бешеными аплодисментами галереи:

— Именно потому, что я разоблачил действительный заговор, меня обвиняют в том, что я стою во главе заговора мнимого; именно потому, что я требовал головы Эгалите-сына, головы так называемого регента, головы всех мятежных Капетов, меня хотят принести в жертву. Пора, чтобы заговорщики были разоблачены и погибли под мечом закона. Что касается сочинения, о котором вам донесли, я признаю, что оно подписано мной. Я в течение семи-восьми минут был председателем общества якобинцев. Мне подали сочинение, которого я не читал; на нём стояли подписи секретарей, и, не зная его содержания, я поставил свою подпись, чтобы засвидетельствовать, что оно исходит от общества.

Огромный взрыв хохота встречает это странное оправдание.

— Впрочем, — продолжает Марат, — принципы, содержащиеся в этом сочинении, я признаю.

Снова, и с большей силой, требуют декрета об обвинении. Дантон и Тюрио требуют, напротив, передачи в Комитет законодательства, который рассмотрит факты и сможет в течение двадцати четырёх часов составить доклад.

Лакруа, поддерживая это предложение, высказывается за то, чтобы Марат был немедленно взят под стражу и отправлен в Аббатство. На этом решении и останавливается Собрание. Но прения, касавшиеся Пультье, а затем Марата, заняли весь день. Было больше девяти часов вечера, когда Конвент смог закрыть заседание.

Тотчас группа монтаньяров окружает Друга народа; к ним вскоре присоединяется некоторое число завсегдатаев трибун, которые, скользя вдоль колонн или спрыгивая с галерей, проникают в пространство, отведённое депутатам. Эта плотная масса подходит к одной из дверей зала. Часовые хотят воспрепятствовать выходу Марата. Готова вспыхнуть потасовка; бегут за дежурным офицером, который приходит с копией только что полученного им декрета. Но обнаруживается, что в спешке председатель Конвента и министр юстиции забыли его подписать. Это лишь клочок бумаги, говорят представителю вооружённой силы друга Марата; остерегитесь совершить незаконный арест.

Ошеломлённый криками, раздающимися вокруг, и боясь взять на себя ответственность, офицер пропускает Марата, который отправляется прятаться в свой обычный погреб. Оказавшись в безопасности, он направляет Конвенту письмо, в котором бросает ему вызов и заявляет, что считает изданный против него декрет следствием свободубийственного заговора[10]. Это письмо приходит в начале заседания 13 апреля. Терпеливо выслушав его чтение, Конвент переходит к повестке дня и предоставляет слово докладчику Комитета законодательства, Делоне-младшему.

VIII

Едва тот успевает прочесть несколько строк своего изложения, как его яростно прерывает Гора. — Я требую, — восклицает Бентаболь, — чтобы доклад делали не враги Марата. — Заявляю Собранию, — отвечает Делоне, — что доклад был полностью прочитан в Комитете законодательства и единогласно одобрен.

Конвент передал на рассмотрение своего Комитета не только донос Гаде, но и все те, которые были сделаны ранее против Марата и которые за четыре с лишним месяца накопились в папках Комитета. Вот почему обвинительный акт касался одновременно и адреса якобинцев,

и нескольких мест из газеты Марата. Гаде прочёл лишь начало адреса, Делоне читает его целиком; затем он напоминает номер газеты Марата от 5 января, обличенный Шабо как посягающий на достоинство Собрания, номер от 25 февраля, где Друг народа открыто проповедовал разграбление лавок бакалейщиков, и, наконец, те номера, где парижский депутат призывал к диктатуре, к мятежу и требовал двухсот пятидесяти тысяч голов. Доклад заключал требованием отправить Марата в Революционный трибунал.

В тот самый момент, когда Делоне спускается с трибуны, множество монтаньяров встаёт и восклицает: Если адрес якобинцев преступен, то преступны и мы. Мы его одобряем, мы готовы его подписать. Давид, Тюрियो, Дюбуа-Крансе, Камиль Демулен бросаются к столу председателя и ставят свои подписи под инкриминируемым документом. Их примеру следует около сотни депутатов. Трибуны восторженно аплодируют. Робеспьер, чтобы дать новую санкцию демагогическому адресу, предлагает разослать его в департаменты и армии.

— Я того же требую, — восклицает Вернье, — ибо нужно, чтобы в департаментах узнали тех, кто провозглашает гражданскую войну.

— Остерегитесь подобной меры, — возражает Лакруа; — Конвент как будто дал бы своё одобрение этому адресу; он сам призвал бы свой роспуск и созыв первичных собраний.

— Ну что ж, да, пусть их созовут! — кричат справа.

Это предложение, поддержанное Жансонне, производит большое смутение в Собрании. Однако одному депутату Равнины, чуждому всех фракций, Вернье, удаётся добиться, чтобы его выслушали: Я, говорит он, не человек какой-либо партии, я не замешан ни в какой ссоре, поэтому имею право откровенно высказать своё мнение. Когда вы судили бывшего короля, я имел простодушие верить, что мнения свободны. Я ошибся; я один из тех негодяев, которые были настолько велики, что голосовали под кинжалами за обращение к народу и за изгнание тирана. Если бы захотели решить, на чьей стороне истинное мужество, ошибиться было бы нельзя. Я один из тех негодяев, с которыми не хотят ни мира, ни перемирия, и, так как я боюсь ускользнуть от этого благородного проскрипционного списка, я пришёл сам донести на себя публично. Ещё до нашего собрания в Париже уже образовалась пагубная коалиция между клубом так называемых друзей свободы, Коммуной, вооружённой силой, административными органами; она разразилась с первого же заседания этого Собрания. Злу можно было помочь лишь мудрой медлительностью, лишь благоразумной осмотрительностью. Но слишком чувствительные добродетельные люди, слишком поражённые тем, что они видели, ускорили меры; отсюда расколы, разделения, дух партий; отсюда вечные прения, среди которых так часто забывалось общественное дело. Одни хотят во что бы то ни стало добиться торжества своих безумных замыслов, приходят с уже готовым мнением и требуют декрета с такой же надменностью, с какой кандидаты Цезаря домогались должности; другие, охваченные недоверием, быть может, справедливым в своём основании, но слишком деятельным, отвергают без рассмотрения предложения своих противников.

Между этими двумя крайностями находятся люди колеблющиеся, ничтожные, всегда бесполезные для общественного спасения. Есть такие, которые без размышления следуют порыву минуты. Есть такие, которые по равнодушию или малодушию всегда принимают последнее мнение как лучшее. Но самые опасные, самые виновные — это те, кто беспрестанно обвиняет, без причины, как и без оснований. Самые подлые и самые вероломные — это те, кто унижается до лести народу, вместо того чтобы служить ему. Поскольку мы дошли до такой степени раздора и взаимного недоверия, что нам невозможно на нашем посту хорошо служить отечеству, пусть обе партии докажут свою гражданственность и великодушие, пусть самые страстные с обеих сторон, став простыми солдатами, отправятся в армию, чтобы подать там пример покорности и мужества[11].

Предложение Вернье было встречено довольно холодно; внимание Собрания в этот момент было поглощено сценой, происходившей у стола секретарей. Несколько депутатов, бро-

сившихся вслед за Давидом и Дюбуа-Крансе, чтобы поставить свои имена под адресом якобинцев, предусмотрительно пришли вычеркнуть свои подписи. Когда от них потребовали объяснить причины отказа: Потому, сказали они, что боялись, как бы их письменным одобрением не воспользовались вероломно.

— А я, — восклицает Камиль Демулен, — горжусь тем, что поставил свою подпись под этим адресом; я её не сниму. Знаете ли вы, почему вам говорят об обращении к народу? Потому что вожаки фракции знают, что сорок восемь парижских секций собираются прийти требовать у вас изгнания двадцати двух роялистов, сообщников Дюмурье; потому что, видя, что их захлестывает, они хотят поджечь пороховой погреб.

Это внезапное разоблачение, вырвавшееся у ужасного ребёнка Революции, вызывает крики негодования правой.

К порядку, в Аббатство, Камиль! Разве парижские секции имеют право изгонять членов Конвента?

На этот протест Жиронды трибуны отвечают воплями и угрозами. Какой-то негодяй нагло показывает кулак членам правой; на него указывают председателю Дельмасу, который приказывает его арестовать. Окружающие сопротивляются и пытаются помочь ему скрыться; но верх в конце концов остаётся за законом.

Когда шум немного утихает, Бюзо пытается вернуть внимание Собрания и к новому обращению к народу, предложенному Жансонне, и к декрету об обвинении Марата.

Если, говорит он, парижские секции имеют право самовольно созываться, чтобы прийти требовать изгнания некоторых членов Конвента, разве департаменты не могут последовать их примеру, чтобы спасти общественное дело? В первичные собрания я и зову обвинителей; там я их жду; там рассудят между ними и нами. Но так как нельзя, чтобы закон был декретирован от усталости, я требую отсрочить на сорок восемь часов обсуждение предложений, сделанных Жансонне. Что касается Марата, я так думаю и заявляю: большинство Парижа будет рукоплескать декрету, который изгонит этого нечистого человека из святилища свободы; в наших департаментах благословят тот день, когда вы избавите род человеческий от человека, который его бесчестит.

Гора требует отложить на три дня обсуждение доклада Делоне, но правая хочет покончить с этим и настаивает, чтобы его выводы были немедленно поставлены на голосование. Тщетно Робеспьер берётся защищать Марата, которому, говорит он, можно поставить в упрек лишь ошибки, лишь погрешности стиля; тщетно изображает его как необходимого часового свободы, как истинного защитника дела народа: огромное большинство упорно требует поименного голосования по декрету, предложенному Комитетом законодательства.

Робеспьер восклицает: Как! Вы хотите без обсуждения издать декрет, который станет сигналом гражданской войны? Не против одного Марата хотят издать декрет об обвинении, а против всех вас, истинных республиканцев, чья энергия неприятна врагам свободы; быть может, и против меня самого.

— Как, — добавляет Лекуантр-Пюираво, — когда тиран, покрытый преступлениями, получил отсрочку в несколько недель, представитель народа не может получить трёхдневную?

Вопли трибун смешиваются с воплями Горы, возбуждение чрезвычайно, председатель покрывает голову. Шум продолжается, но наконец, утомившись, постепенно стихает.

В десять часов вечера начинается поименное голосование; оно длится до семи часов утра. В течение девяти часов депутаты проходят через трибуну, мотивируя или не мотивируя своё голосование, освистываемые или приветствуемые зрителями галерей, смотря по тому, высказываются ли они за или против Друга народа. Со времени поименных голосований, решивших участь Людовика XVI, ни одно голосование не проводилось с такой торжественностью, и ни одно больше не будет так проводиться. Ни жирондисты, ни Дантон, ни Робеспьер не удосто-

ились поименного голосования; их отправка в Революционный трибунал и оттуда на эшафот была решена вставанием и сидением.

Из 749 членов Конвента лишь 360 откликнулись на вызов своих имён. Некоторое число депутатов было в миссиях, но многие другие, в том числе Барер и Дантон, находившиеся в Париже, воздержались от голосования. Верньо, Гаде, Жансонне, Бриссо, Петийон, Кервелеган, Ласурс, Салль и Кондорсе взяли самоотвод. Двое или трое депутатов иронически предложили, вместо того чтобы предавать обвиняемого Революционному трибуналу, отправить его в сумасшедший дом. Некоторые члены центра, между прочим Гарран-Кулон и Камбасерес, шая обе партии, заявили, что недостаточно осведомлены. Лакруа, забыв, что накануне сам требовал ареста Марата[12], восстал против поспешности голосования; его тезис поддержали все благоразумные депутаты, желавшие сохранить свою популярность, не делаясь солидарными с Другом народа. Робеспьер громко ссылаясь на ту парламентскую неприкосновенность, с которой позже он так дешево обойдётся в отношении своих врагов, и воспользовался случаем, чтобы предаться своей обычной напыщенной фразеологии.

Республика, сказал он, может быть основана лишь на добродетели; добродетель не может допустить забвения первых начал справедливости. В обвинении, выдвинутом против Марата, есть лишь пристрастность, мщение, несправедливость, дух партии; оно лишь продолжение системы, поддерживаемой за счёт государственной казны фракцией, которая уже давно распоряжается нашими финансами и силой правительства и стремится отождествить Марата, которому ставят в упрёк преувеличения, со всеми друзьями Республики, ему чуждыми. Во всём этом деле я вижу лишь дух фельянов, умеренных и всех этих подлых убийц свободы, лишь гнусную интригу, сплетённую, чтобы обесчестить патриотизм. Я с презрением отвергаю предложенный декрет об обвинении.

Ланжюине представил противоположность мнению Робеспьера и резюмировал претензии большинства:

Марат, сказал он, прямо, недвусмысленно, публично, устно и письменно провоцировал восстановление тирании, требуя диктатуры и триумvirата. Он призывал кинжал на представителей народа; он проповедовал анархию, грабёж и убийство; он сделался вечным оскорбителем, заурядным клеветником всех государственных должностных лиц. Эти факты никому не неизвестны; я не признаю за собой права миловать, я был бы трусом и изменником отечеству, если бы не сказал: обвинение имеет место.

Из всех голосовавших один Дюбуа-Крансе имел верное предвидение будущего: Вы, сказал он, повернувшись к правой, дали этому человеку, чьё существование было долго загадкой, вес, которого он не искал. Вы сочли полезным напугать народ департаментов мнимой сектой маратистов, чтобы разом бросить насмешку и клевету на патриотизм Горы, на эту Гору, которую я населяю, на эту Гору, которая совершила Революцию и которая её спасёт. Вы составили донос на Марата, которого следовало оставить одного с его причудами, часто весьма прозорливыми. Этот донос нелеп: Марат будет оправдан, признан невиновным, и народ с триумфом принесёт его обратно в эту ограду.

События доказали истинность этого пророчества, но Собрание зашло слишком далеко, чтобы отступать.

Несмотря на вопли трибун, которые в течение девяти часов не умолкали ни на мгновение, двести двадцать голосов высказались за декрет об обвинении, девяносто два — против; семь депутатов потребовали отсрочки, сорок один воздержался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.